

---

Фридрих Горенштейн

Яков Каша



ПОВЕСТЬ

ДК 92/5-6

---

Когда на советские города и села опускаются предпраздничные сумерки, повсюду загораются огни иллюминаций, будь то знаменитая, умело продуманная электропропаганда на фасаде московского главтелеграфа или скромное перемигивание лампочек на фасаде дома культуры далекого села Геройское, бывшей деревни Перегной.

Предпраздничные и праздничные дни в России всегда и желанны и тревожны. Какая-то общественная вольность чувствуется в суете у продовольственных магазинов, какой-то революционный анархизм в многолюдье на улицах, нетрезвые выкрики и песни полны лихого романтизма. Вот уже не прирученная клубной самодеятельностью вольная гармонь подогревает рабоче-крестьянскую кровь в центре Москвы у памятника Пушкину, навевая сладкий, забытый сон о грабеже награбленного.

В России, как всегда, есть кого бить, есть кому бить и есть чем бить. Бутылка заменила булыжник, стала грозным оружием пролетариата.

Серые трудовые будни делают людей неврастениками, загоняют под шкуру людскую натуру. А ведь хочется жить, хочется дышать полной грудью, покричать до хрипоты, ударить ногой ненавистное тело... Крови и демократии хочется. Какая же демократия без открыто пролитой на панель крови? Ведь тирания льет кровь в подвалах и камерах, подальше от глаз общественности.

Над городом витает призрак демократии. То здесь, то там звучат в ночном воздухе знаменитые формулировки и тезисы: «Иди от сю...а! Чьё ты орешь! Чьё те надо!» Без усталости работают ночные трибуналы. И подтаивает ноябрьский ледок на лужицах от теплой крови. И липкой становится первая майская травка.

Демобилизованное из армии крестьянство в милицейских шинелях тревожно поеживается в праздничной тьме. Когда в округе рыщут волки, не всегда можно надеяться на собак. Общая плоть, односельчане.

Опасны, опасны праздники в скучной стране. Кажется, вот-вот и заколеблется все, растает, потеряет устойчивость... Вот-вот, кто-то, какой-то, откуда-то вдруг заберется куда-нибудь повыше и крикнет: «Братцы!» А больше ничего и не надо. Какая еще нужна свобода слова. Гармонь, луна на шухере, громкие разговоры, дыхание водкой и винегретом...

И вот уже в Москве, не в центре, но и не на окраине, треухи и платки, взявшись за руки, остановили «зеленый ворон», спецмашину вытрезвителя, и потребовали освободить своих «павших» товарищей.

«Знаем мы вас,— кричали односельчанам в казенной форме,— побьете их и деньги отберете».

А милицейский начальник говорил, озираясь, без напора, уговаривал разойтись, как полицмейстер в 1917 году... Еще бы... Мокрый ноябрьский снег, блоковский ветер... И революционные хулиганы, лица — ножи... Вот оно в данный момент уличное правительство... До

механизированной охраны, бронетранспортеров Таманской дивизии далеко, до кремлевского правительства высоко...

Высоко-то высоко, да метра три не более... Подняв глаза милицейский начальник над трухлявыми и платками уличного правительства и увидел на фронтоне ближайшего здания правительство, которому присягал, законное правительство, в полном составе и в строго установленном порядке по левую и правую сторону от генерального расположенное, хоть и в виде мокрых портретов, окруженных мокрыми флагами и лозунгами.

Преодолев минутную человеческую слабость и недолгую политическую растерянность милицейский начальник, зычно, хоть и простуженно, крикнул: «Разойдись! Оружие применю...» (картечью по традиции бунтовщиков, картечью). Дрогнули бунтовщики, расступились перед законом в виде спецмашины вытрезвителя, побежали во тьму. А спецмашина благополучно достигла вытрезвителя, также по случаю праздника украшенного красным знаменем. Жаль, не было на нем лозунга: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь».

Однако не в том дело... Мы, исходя из конкретного примера, можно сказать, к соли вопроса подошли.

В каждом государстве недовольных меньшинство, а довольных, то есть не желающих коренных изменений, большинство. Но недовольные сплочены своим недовольством, а довольные разобщены. Ибо недовольство есть чувство идеологическое, тогда как довольный человек безыдеен.

Мы, разобщенное контрреволюционное большинство, певшее в прошлом: «Боже, царя храни...» и поющее ныне: «Союз нерушимый...», не берегли портреты государя, так побережем же портреты нынешних руководителей.

В селе Геройское, бывшая деревня Перегнои, за данный участок долгое время был ответственен товарищ Каша Я. П.

## 1

Яков Павлович Каша родился и вырос в селе Геройское, бывшая деревня Перегнои.

«Есть каша с смальцем, а я Каша с пальцем», — так он любил шутить, когда рассказывал о себе.

Яков Каша, как и его друг Ефим Гармата, был пролетарско-крестьянского происхождения. Работал он на гранитном карьере, расположенном вблизи села, а также одно время трактористом в колхозе. Черный гранит из Перегноев шел на памятники героям революции и войны, на строительство правительственных зданий и даже, говорят, отчасти принимал участие в сооружении могилы номер один, ленинского мавзолея.

В 56 году на совещании передовиков промышленности строительных материалов непосредственно Каганович Якову Каше руку жал.

А личная жизнь Якова Каши сложилась следующим образом. Имел он сына Емельяна и внука Игоря — Игоряху. Имел он и жену Полину...

Встретил он Полину в райцентре, городке Грындино, на деревянном мосту, возле водяной мельницы в апреле 1932 года. Весна была холодная и голодная. Так много народу померло, что стало это делом привычным. Померли у Якова братья и сестры. О них он погоревал. Померла мать, о ней он горевать не стал, была она его сильно, когда выпьет. А отца у него давно не было. Остался Яков один, но был уже на своих харчах, подпаском в коммуне под названием «Хлеб и сало пополам». А пастухом был его друг Ефим Гармата, который постарше Якова на два года. Так и прошел Ефим Гармата жизнь на полшага впереди Якова Каши. Яков в пастухи, Ефим в члены прав-

ления, Якову Каганович руку жал, а Ефиму—Ворошилов с Буденным компанию составили в народном переплясе под «Эх ты, яблочко...». Бессмертная песня, гимн революции и гражданской войны... Словно раздвинулись стены кремлевского зала, степью, чебрецом запахло, и борьба с мировой буржуазией стала делом не бюрократов, бухгалтеров и лекторов, а стальных бойцов, которые не боятся запаха крови... Всякий лихой боец — в мирное время бунтарь и хулиган, ибо отнята у него инициатива бить и резать.

Вот в перерыве между заседаниями передовиков-стахановцев пошел чернявый... Руки вразлет, ноги бьют, как из «максима»... тра-та-та-та... Эх ты, яблочко... топтало... Молод еще, в гражданской не участвовал... А похож на того... из третьего эскадрона...

Увлажнились глаза у товарищей Буденного и Ворошилова. Крепко пляшет чернявый, но и Буденный с Ворошиловым не плохо кренделя плетут. Еще бы, лучшие плясуны Политбюро ЦК ВКП(б) данного созыва. И якобы Сам глянул, улыбнулся в усы и сказал Молотову: «Хорошо пляшет комсомолец... Настоящий крестьянский парень... Отстают Семен с Климентием. Пора на пленуме поставить вопрос об улучшении художественной самодельности нашего Политбюро...»

А тут же почтительно суетится белоглазый с блокнотиком и шепотком: «Как фамилия товарища? Который с товарищами Буденным и Ворошиловым... Ясно... Из села Геройское... Ясно...»

С тех пор начал расти Ефим Гармата. Но в местных масштабах. Был членом правления, был председателем колхоза, был директором мебельной фабрики в райцентре, был председателем месткома карьероуправления... А когда достиг пенсионного возраста, стал освобожденным секретарем партбюро... Яков же Каша, который после стахановской жизни на пенсию уходить не собирался, числился сторожем, но с широкими партийными полномочиями.

Однако в весну 1932-го все это было еще делом неизведанного будущего. Стоял тогда Яков Каша на мосту, смотрел на грязные сугробы, слушал плеск воды, грохот мельничных жерновов, жадно вдыхал запах мучной пыли, и от этого кусок липкого коммунарского хлеба, который он ел, казался ему вдвое аппетитней.

Подойшла драная старуха, поклонилась, попросила хлебца Христом Богом...

— Поди в церковь,— посоветовал ей Яков,— недалеко... И на кусок хлеба соберешь, и помолишься... А я религиозным не подаю, я комсомолец...

— Так закрыли церковь-то,— сказала старуха,— и поп сбежал... Еврей из района приехал, лекцию говорил... Вроде бы поп всю церковную казну в Палестину вывез...

— Это раньше была Палестина,— сказал Яков, который к тому времени посещал кружок ликбеза и читал по слогам газеты,— это по-религиозному Палестина, а теперь она Месрапотамия называется.

— Может, и так,— согласилась старуха,— да церковь закрыли.

— А раз закрыли, в комсомол поступай,— засмеялся Яков.

— Извинения прошу за беспокойство,— сказала старуха, поклонилась Якову и пошла по мосту на другой берег... Яков от нечего делать посмотрел ей вслед и увидел молодую нищенку, тоже бледную и драную.— Развелось их,— сердито подумал Яков,— только от одной отвязался...

Нищенка была Помина, будущая любимая жена Якова, но он этого еще не знал и потому зачем-то спросил:

— Тебя как зовут?

Она сказала. Он отвернулся и начал смотреть на воду, грохочущую у мельничных жерновов, думая, что нищенка будет кланяться хлебу. Но потом вдруг глянул, она уходила, была уже далеко. Сам не зная зачем, он крикнул ей вслед.

— Эй, ты... Деваха... Краля... Как тебя...

Она остановилась, обернулась и ошпарила голубыми глазами.

— Полина меня звать,— сказала она.

— Ну, забыл, прости,— усмехнулся Яков, подошел к ней, отломил кусочек хлеба,— на, возьми...

Она взяла и начала есть, откусывая от маленького кусочка совсем маленькие частички, не ела, а сосала их, как дети сосут сладкие леденцы.

— Все померли, что ли? — спросил Яков.

— Все,— сказала Полина.

— И у меня все,— сказал Яков,— но харч свой имею... Пошли ко мне...

— Нет,— сказала Полина,— я не гулящая... мне мамашка перед смертью запретила...

И чем больше она говорила, тем более нравилась Якову.

— Я ведь комсомолец,— сказал Яков,— а отношение с женским полом у нас строгое. Это только буржуазия и кулаки про нас вранье распускают. Пойдем в сельсовет, там мой друг Ефим Гармата, свой человек.

Так поженились Яков и Полина. И через год родился у них сын, Емельян Каша.

Сынок был хороший, сопливенький, слюнявенький, пердунчик с ручками мягонькими, как свежие пирожки из дрожжевого теста. Когда жизнь стала чуть погуще, понаваристей, начала Полина печь на Якова стахановские заработки сдобные пирожки с луком и кашей. И пирожки те, только-только из печи вытащенные, аккуратно были на ощупь как Омелькины ручки. Начались и премии за доблестный труд. То патефон, то сапоги с ушками. Наденешь в выходной новые сапоги, запустишь патефон: «Все выше, и выше, и выше...» Возьмешь Омельку на колени, понюхаешь родную теплоту, понюхаешь еще раз — скипидар в нос, значит обоссался. А Полина тем временем миску на стол с целой кучей Омелькиных теплых ручек... Хорошо...

И вот на эту счастливую жизнь посягнул фюрер... Было за что воевать... И провоевал Яков Каша четыре года... Но об этом особый разговор. Война — это тоже жизнь. Но жизнь во сне. Пока спишь, сон — главное, а как проснулся, все, что было, как будто тебе рассказали. Если б не ранения, тугие шрамы, то и не поверил бы...

Проснулся от войны Яков Каша, вернулся домой, а оборванный кусок прошлой счастливой жизни с новым куском плохо склеивается... И та будто Полина, и не та... И смотрит по-другому, и на ощупь ночью другая... Сынок же Омелька стал подростком, злым и нервным. Махрой изо рта прет, и на мать руку поднимает. А вместо ручек-пирожков у него немые кулаки, хоть и небольшие, но костлявые, как гвозди острые. Яков его пробовал ремнем солдатским учить, так сама же Полина заступается... Ну и живите, как хотите.

Занялся Яков восстановлением народного хозяйства, карьер восстанавливал. А Полина в колхозе, куда пошлют. Омелька в школу в соседнее село начал ходить. Вроде бы постепенно притерлись. Яков по воскресеньям даже патефон опять заводит стал: «Все выше, и выше, и выше...» или «Давай закурим...» Полина блинов из пшена испечет, Омелька покушает, добрей становится... Сидит слушает, как отец ему свои военные сны рассказывает.

— Видал я и американцев на реке Эльбе,— говорит Яков Каша, макая пшеничный блин в молоко,— жизнь у них по-своему тоже хреновая... Все ради денег... А вместо прощай — до свиданья — будь бай говорят... Это значит будь богатым. Бай по-ихнему что-то вроде нашего помещика или кулака...

Полина слушает, и оттаивает, и лицом розовеет, и даже полнее телом становится ночью — может, от налаживающихся отношений, а может, от молочка. При социализме ведь тоже без денег не проживешь. Накопили денюжку, купили коровенку. А чем кормить? Лето бы-

ло холодное, а зима лютая. Спасибо, Ефим Гармата, который из эвакуации вернулся, соломой помогал и колхозным гужевым транспортом.

Как-то в начале весны, но при зимней еще погоде, крепком морозе и густом снеге, поехали в поле за соломой. Впереди на тракторе ехал тракторист Чепурной, а следом на лошади, запряженной в сани, Яков. Рядом с Яковом сидел Омеля, а чуть позади Полина и жена Чепурного, Клавдия.

День был тоскливый, снег да снег. За снегом чернели строения, деревья. Но когда выехали в поле, и это развлечение пропало. Снег да снег, куда ни посмотришь. Хоть бы стемнело быстрее. Яков не любил зимой светлое время суток. Бесприютно как-то. А в сумерки загорались огни в домах, лампы-прожектора на карьере, и становилось уютней. Однако до вечера еще было ох как далеко.

Ехали медленно, тракторист Чепурной полз, не торопился, на малой скорости. От медленной этой езды становилось еще тоскливей. Яков уже и причмокивал и вожжи вскидывал, думая, что Чепурной заметит и прибавит скорости. А тот полз да полз. Яков несколько раз порывался идти на обгон, да дорога была узкой. Наконец на повороте представилась возможность. Яков хлестанул лошадь, сани обогнали трактор, но наехали полозом на лежащее под снегом бревно и опрокинулись. Полина, сидевшая с краю, мигом выпала из саней и очутилась под трактором. Да так, что ее и видно не стало, только кровь потекла из-под трактора обильно, будто ее кто-то лил ведро за ведром. Трудно было поверить, что из человека, ко всему еще такого небольшого, как Полина, может вытечь столько крови. Все это случилось словно с посторонним. Только когда Омелька выбрался из опрокинутых саней и побежал прочь от материнской крови в снежную степь, Яков понял, что случилось это все именно с ним.

## 2

В гроб Полину положили в мешке, иначе нельзя было. А Чепурного оправдал суд, поскольку невозможно было предвидеть ни бревна под снегом, ни обгона, на который пошел Яков. Яков и к Гармате обращался за помощью засудить Чепурного, и в область писал. Не получилось.

И зажил Яков Каша бобылем вместе со своим подрастающим сыном Емельяном. Вначале тяжело было, а позже притерся. Работал тогда Яков Каша машинистом щековой дробилки, нового на карьере механизма, который камень-бут в щебенку превращает, необходимую на строительстве для бетона, для асфальтирования и для прочих нужд. Работал Яков хорошо, еще сильнее включился в стахановское движение, единственное теперь для него удовольствие.

Емельян рос чужим, и Яков уже с этим примирился. Сварят картошки в чугушке, сала нарежут, поедят молча и разойдутся. Яков на смену или на заседание партбюро карьероуправления, а Емельян неизвестно куда. Парень взрослый, как посеет, так и пожнет. Однако, вроде бы, говорят, начал Емельян самодеятельностью увлекаться, колхозный клуб посещать. Однажды грамоту приносит.

— Вот, — говорит, — выдали...

Похвалил Яков сына и на себя даже осерчал: «Зря я на него так...», — и спросил:

— Ты что же это, поешь или танцуешь?

— Нет, — говорит, — я на гармошке играю.

— Хорошо, — говорит Яков, — с полочки будет тебе гармошка...

А на селе так: кто гармонист — у того и девки. Приходит как-то.

— Я жениться надумал.

— Куда? Что? Женилка какой нашелся... Да научись ты сначала хоть кусок хлеба зарабатывать. И армию отслужи.

А Емельян упрямый.

— Нет, я ее приведу.

И привел. Вошла она скромно, тихо, уселась, куда ей Емельян показал.

— Анюта,— говорит.

Глянул на нее Яков, и, может, оттого что вечер был теплый, шелестела листва вишневого дерева под окном, на душе было мирно и ясно, может, от всего этого сердце подсказало дикую мысль: «Это Полина».

«Да какая же это Полина,— сам себе мысленно возражает Яков,— Полину давно уже схоронили». — «Нет,— опять твердит сердце,— это не та Полина, что под трактор попала, а та, которую ты в 32-м году на мосту встретил возле водяной мельницы». Пригляделся. И верно, на молодую Полину похожа. Лицо ее, фигура ее, и глаза синим обжигают. Чертовщина какая-то, для атеиста и члена партии не подходящая.

— А сколько ж тебе, Анюта, лет? — спрашивает Яков.

— Девятнадцать, как и мне,— вместо Анюты Емельян отвечает,— возраст по конституции подходящий для женитьбы... Тем более тяжелая она, рожать собирается.

— Вона как.. Тогда другая суть,— говорит Яков,— «а что на Полину похожую выбрал,— про себя подумал,— так он же мой сын, вкус по наследству получил».

Да и каждый сын по возможности, хоть и неосознанно, старается выбрать себе женщину, на мать свою похожую, на матери своей жениться, ибо не совсем еще выветрилась из жизни античность. Но так уже Яков не подумал. Античность была за горизонтом его народно-социалистического сознания.

Женился Емельян, а к осени в армию ушел.

— Ничего,— говорит,— я в армии профессию получу, шофером буду.

Емельян служил на Дальнем Востоке, возле Хабаровска, в Биробиджане. Писал он часто, но письма долго шли, а, может, некоторые терялись в такой далекой дороге. И Яков с Анютой жили теперь вдвоем в хате, как близкие люди. Анюта вот-вот рожать должна была, и Яков о ней заботился, как о родной дочери или любимой жене. Было тогда Якову сорок два года. Зарабатывал он по тем временам неплохо, поскольку был лучшим машинистом щековой дробилки и в его смене поломок почти не было. Подумывал Яков снова коровенку купить, так как после смерти Полины ту продали. «Внучок родится, молочко потребуется».

Любил Яков особенно ночные смены. «Тихо, спокойно, начальства поменьше, всяких там распоряжений-указаний...» А на душе у Якова в тот период было так, словно он все время радостную песню пел, но без слов и без звука. Проверяет ли двигатель в машинном отделении, думает об Анюте, выйдет ли в майскую ночную теплынь, проверяет работу наружных механиков, думает об Анюте.

Щековую дробилку Яков любил. Приятный механизм и работать на нем приятно. От двигателя шатун две щеки в действие приводит, и раскалывают они гранитный камень-обмолоч, как орехи, мнут его, и просыпается щебенка через воронку на дрожашую двойную решетку. Покрупней щебенка на верхней остается, помельче на нижнюю просыпается. А оттуда на ленточные транспортеры. Под одним гора крупной щебенки, под другим гора мелкой щебенки. Подъезжай и грузи.

Но знал также как член партбюро, что и частнику стараются кое-что отгрузить, на строительство домов в личное пользование. С Ефимом Гарматой на этот счет разговор был. Подозревал, что замешан в

этом и нынешний главный инженер карьера Губко. Но доказательств не было, кроме ненависти Губко к Якову за постановку вопроса на партбюро. Однако послевоенному выпускнику техникума Губко не по зубам был старый комсомолец, стахановец, фронтовик, участник все-союзного совещания передовиков Яков Каша. «Ничего,— думает про себя Яков,— правда выплывет». И переключает мысль с неприятного явления на приятное. «Скоро Анята внучонка родит».

И точно, скоро родила и именно внучонка. Назвала она его зачем-то Игорь. Якову имя не понравилось, но привык. Вместо Игоря, правда, Игоряхой звал.

Когда везли Игоряху из районного родильного дома, остановил Яков лошадей, которых ему Гармата по такому случаю предоставил, остановил на мосту, сошел с подводы, посмотрел на зеленую от ила воду в том месте, где когда-то была водяная мельница, а теперь только торчали из воды мокрые, слизкие от водорослей деревянные обломки и лежал расколотый камень-жернов; посмотрел Яков и вытер слезу. «Бабка Полина не дожила». Но тут же глянул, как счастливая Анята убаюкивает раскрячавшийся сверток, и улынулся.

— Уже свое требует... Значит, уцепился за жизнь.

Емельяну послали в армию на Дальний Восток телеграмму. Ответа долго не было. Наконец пришло письмо, что просился в отпуск, по случаю рождения сына, но отказали, в связи с сложившимися обстоятельствами, и потому просит пока прислать фотокарточку. Фотокарточку Игоряхи Яков послал заказным письмом, после чего ответные письма от Емельяна опять начали идти туго. Видать, на учениях и маневрах был. Пехотинец пришел в казарму, портянки снял, вокруг кирзовых сапог обмотал, чтоб сушились, лег и спит. А у танкиста механизм на горбу. Емельян в танковых частях был. Танк ведь только на первый взгляд на слона похож, здоровенный и непробиваемый. Капризничает он, как ребенок, и лечить его надо, как ребенка. И вот, пока Емельян за танком своим ухаживал, лечил его, Яков за сыном Емельяновым, Игоряхой, ухаживал, лечил, ибо прицепилось к нему болезней видимо-невидимо. И красная сыпь на тельце, и кашель, и температура. И к Аняте болезни послеродовые прицепились... Все премии и ползарплаты на докторов шло и на лекарства необычные. То одного доктора из района приглашает, то другого. От покупки коровенки пришлось отказаться, однако от соседней коровы молочко брали. Так молочком, да любовью, да дорогими лекарствами вылечили Игоряху. И Аняту поставили на ноги.

Когда Емельян из армии вернулся, Игоряха уже был веселый младенец с крепкими ножками и цепкими ручками. И Анята расцвела, лицом еще больше на Полину стала похожа. Только еще лучше Полины. Даже и в молодости никогда не было у Полины таких ласковых тихих глаз, такой мягкой белой шеи, и пахло от Аняты цветами, которые она в обилии посадила на клумбе под окном.

Встретились с Емельяном хорошо. Подарков привез. О политике за стаканом самогона поговорили.

— Это что ж,— спрашивает Яков,— с китайцами вроде раздор?

— Фарвус,— отвечает Емельян, который служил в Биробиджане и набрался еврейских словечек, употребляемых им вкривь и вкось,— это пока военная тайна насчет китайцев, батька...

— Какая ж тайна,— говорит Яков,— если вот негр знаменитый приезжал... Джамахарлал, кажись... так он прямо заявил, что китайцы про мировое господство задумались. Я в газете читал. А где же, спрашивается, коммунисты китайские?

— Где коммунисты,— отвечает Емельян,— я не знаю, но в случай чего мы им сделаем коп ин кестел фис ин дройсын... Голова в ящик, ноги на улицу,— сказав это, засмеялся и выпил стакан одним глотком.

Сынка Игоряху Емельян взял на руки, но тот толкнул его ножками в грудь и заплакал.

— Брыкается,— сказал Емельян,— шнобель торчит, а на кого похож, непонятно... Эй ты, звер...

Анюта поспешно забрала мальчика и сказала:

— Пахнет от тебя луком и выпивкой... Он не любит... А курить в сени иди...

— Эйсех вус,— сказал Емельян,— я тут, получается, лишний... Ладно,— и с такой силой бросил стакан на пол, что тот разбился на мельчайшие осколки.

Анюта унесла Игоряху за перегородку, а Яков сказал:

— Ложись, Омея, устал ты... Проспись...

— Ладно,— сказал Емельян,— кто здесь балебус, мы потом посмотрим...

Емельян устроился работать шофером на карьер, но, как разладилось с самого начала, так и не слаживалось в семье. Уходил он после работы, где-то пропадал, часто приходил пьяный. А если трезвый придет, так еще хуже. Мрачный сидит. Если за обедом два слова скажет, это он уже разговорился. Однако постепенно начал менять тактику. То мрачный, неразговорчивый был, а то, наоборот, приветливый, вроде, и всякие истории за обедом рассказывает. Разное рассказывает, а все об одном.

— Слыхали, в Зубовке сторож сельпо на почве ревности четырьмя выстрелами ночью жену свою застрелил... Сделал ей коп ин кестел фис ин дройсын... Застрелил ее, значит, а утром пошел в правление сельпо казенное ружье сдавать, которое он для охраны магазина получил... Вы наблюдаете, батька, как человек действует... Сдал ружье, потом к председателю сельсовета идет... Так мол и так, убил я свою курвину. Председатель хотел его задержать — он ему в зубы... Пока крик, гам, он в сарай зашел и там повесился...

— Что повесился, правильно сделал,— говорит Яков,— по закону все равно бы расстреляли.

— Нет,— отвечает Емельян,— звер, зйсех вус... Убийство при ревности смягчает вину.

— Может, и так,— отвечает Яков,— только при Анюте не надо такие вещи рассказывать. Она еще кормящая мать, сына твоего кормит.

— Кормит-то кормит, да моего ли,— криво улыбается Емельян.

— Замолчи, болячка чертова!

— Ладно,— отвечает Емельян,— молчу... Это я пошутил... Эйсех вус... Звер.

И действительно, какое-то время молчал. Притих, пил в меру, без скандала. И даже получку принес почти полностью.

### 3

Что-то около месяца прошло. Вечер был дождливый, светили молнии, гроыхало. Игоряха пугался грома, долго не засыпал. Анюта с ним умаялась. Почти он уже заснул, засопел курносым носиком, когда пришел Емельян, неопрятный, полупьяный, охрипший. Емельян сел возле стола и сказал Якову:

— Род наш гнилой, балебус, вот какие дела. Одним словом, Каша...

— Потихе говори,— сказала Анюта,— ребенок только уснул.

— Значит, опять я не вовремя,— сказал Емельян.

— Тише говори,— снова сердито сказала Анюта,— и чем это у тебя пиджак выпачкан? Соплями, что ли?

— Ах, это,— глянул на лацкан Емельян,— это мне в кашу плюнули... Эй сех вус... Звер... А между прочим, слыхали? В Трындино Шибанов, инженер с мебельной фабрики, из ревности жену свою убил... Светлану. Двое детей осталось. Говорят, он ее давно подозревал в связи с электриком, но прямых доказательств не было, а она свою вину



категорически отрицала. Вечером Шибанов пошел на торжественное заседание, по случаю вручения ветеранам медалей. Возвращается домой, застаёт у себя теплую компанию, человек пять. Три мужика, две бабы и его жена Светлана. А среди мужиков электрик, парень молодой, здоровенный. «По какому поводу?» — спрашивает инженер, но здороваются дружески, поскольку доказательств нет. «Ах, родной, ах, дорогой, садись с нами,— говорит инженерова жена,— у подруги сегодня день рождения, зашли ко мне...» То да сё... Зовер... Эйсех вус... Он, думает, фарвус нет... тоже садится, беседует, выпивает, потом гости и электрик с ними ушли. Светлана стала мыть посуду, а инженер от усталости лег спать в комнате детей. Под утро он проснулся от жажды и пошел на кухню воды выпить. Глядь, жена его лежит на диване вместе с электриком, в обнимку. Вначале, естественно, он оторопел, а потом схватил топор и обухом ударил несколько раз по голове жену и элетрика... Сделал им коп ин кестел...

Яков не стал перебивать, видя, в каком состоянии Емельян. Думает — выговорится и заснет. И верно, поговорив, Емельян, даже не ужиная, быстро уснул.

Однако ночью Яков проснулся от крика Анюты и плача Игоряхи. Он сразу понял, Омеля Анюту бьет. Кинулся Яков без слов в одном белье. Анюта же завернула Игоряху в одеяльце и как была, босая, в рубашке ночной, выбежала на улицу. Хорошо — тепло было, хоть и мокро. А Яков с Емельяном ни единого слова друг другу не сказали, а только дрались. Емельян был молодой, но прогнивший от водки, а Яков соблюдал себя и потому сохранил силу. Крепко били друг друга, но только руками. Ни голову, ни ноги, ни, тем более, тяжелые предметы не применяли. Все же отец с сыном дерутся. Умаялись, вышли во двор, рядом умыли возле колодца кровь с лиц.

— Иди в дом,— говорит Емельян жене,— пацана простудишь... Кончились танцы, гармонист устал... Эйсех вус... Фарвус...

А на следующий день пропал Емельян. Пошел на работу и не вернулся... Ни днем к обеду, ни вечером к ужину, ни ночью.

— Он у Зинки,— нервничает Анюта,— у Зинки Чепурной.

Зинка Чепурная, дочь того самого Чепурного, трактор которого убил Полину, была росту небольшого, а рот большой и зубы белые, семечко к семечку... Отборные зубы, фарфор... Хотя и у Полины были такие зубы и у Анюты. Красотой зубов девки в этой местности славилась, может оттого, что много ели чеснока. Но Зинка при подобных зубах отличалась турецкой чернявостью. Емельян же по приходу из армии опять за гармонь взялся. И была эта пара Емельян — Зина, словно друг для друга предназначенная. В область на смотр собирались посылать. Как объявят: «Исполняет Зинаида Чепурная, аккомпанирует Емельян Каша», — зал сельского клуба сразу зашумит, а потом затихнет, удовольствие предвидя. Голос у Зинаиды был возбуждающий, она словно не пела, а ласково стонала.

На закати ходит парень  
Возле дома мо-и-го...  
Поморгает он мне глазами  
И ни скажит эх ни-чи-го...  
И кто его знает, чаго он морга-ит...

А Емельян перебор дает.

Ра-та-та-та-та-та-та  
Ра-та-та-та-та-та-та  
Ра-та-та-та-та-та  
Ра-та-та-а-а...

А Зинаида с платочком в руке.

Я раздумывать эх ни стала  
И бегом в НКВД-е-е

Рассказала, эх что видала  
 И показываю где-е  
 А он и ни знает  
 И ни замичает  
 Что наша деревня  
 За ним наблюдает-и-ит... эх...  
 Ра-та-та-та-та-та-та  
 Ра-та-та-та-та-та-та  
 Ра-та-та-та-та-та-та  
 Ра-та-та-а-а...

— У Зинки он, Чепурной, у Зинки,— нервничает Анюта.

— Если так, то не сын он мне, а тебе не муж,— говорит Яков,— пусть идет в семью убийцы его матери... А мы без него жили и проживем... Ведь верно, Анюта? Игоряху воспитаем...

— Верно,— отвечает Анюта и повернулась как-то, плечом повела так, что совсем в тот момент исчезла разница между нею и молодой Полиной, в первый год женитьбы Якова и рождения Емельяна. Даже кофточка на ней была похожая, ситцевая в крапинку, на груди в обтяжку. И задрожало, защекало у Якова, покатилась щека полукругом вниз от пупа по животу и остановилась в напряжении.

Поужинали в покое. Игоряха тоже не плакал, заснул тихо. Мир царил в хате, семейное удовольствие. Но на третьи сутки все же завоновались. Пропал сын Омеля, пропал муж Емельян.

— Может, случилось что,— говорит Анюта,— пьяный в карьер упал или в реку. Или на шоссе поперся, а там под машину... Зинка-то Чепурная в отъезде уже две недели... У тетки своей гостит в Мясном. И там, вроде, замуж идти собирается за милицейского старшину... Я узнавала.

— Расчет милиции ты хорошо напсмила,— говорит Яков,— в милицию надо, в район. Пусть розыск организуют.

Оделся Яков торопливо и поехал в район. Сын все ж единственный.

В район добрался под вечер. В райотделе милиции все двери были закрыты, только за перегородкой сидел дежурный, лузгал семечки и складывал их в баночку из-под консервов. Видать, семечки лузгали здесь постоянно, а баночка стояла давно.

— Сын у меня пропал,— запыхавшись сказал Яков,— Каша фамилия.

— Как пропал? Какая каша? — неторопливо, привычный к чужим чрезвычайностям, спросил дежурный.

— Каша фамилия... Уже три дня назад, и нет,— ответил Яков,— и на работу не является, я выяснил.

— Прогульщик, значит,— сказал дежурный.

— Да как вы разговариваете... Яков Каша... Стахановец, фронтовик... Я пойду... Я дойду...

— Завтра, папаша, дойдешь,— сказал дежурный,— рабочий день кончился.

— Где начальник? Кто есть из начальства?

А руки у Якова независимо существуют, сами двигаются вверх, хоть он их старается держать полусогнутыми на уровне груди.

Соседние двери открылись, упала в коридор полоска электричества, и глянула лохматая голова.

У головы фамилия была старший лейтенант Простак. Без «старший лейтенант» фамилия не звучала. Даже частные письма к матери в город Гродно, Черниговской области, он подписывал обратным адресом: город Трындино, улица Парижской Коммуны, 4, старшему лейтенанту Простаку Анатолию Тарасовичу.

Разлохматил голову старшему лейтенанту Простаку протокол, который вернули из прокуратуры. Прокурор Таиров, татарин, недавно работает, а уже старается свои порядки завести.

«Из ларька похищено,— пишет заново старший лейтенант Простак, потом зачеркивает и пишет: — В ящиках витрины находятся конфеты «Мелитопольские», пустой ящик, два витринных ящика с конфетами, поллитра с жидкостью...» Он останавливается и перечитывает. На прошлом протоколе прокурор написал: «Место происшествия вначале именуется — магазин, а через три строчки — ларек».

«Морда татарская,— думает про себя старший лейтенант Простак и пишет дальше: — Из ларька похищено денег в сумме восемнадцать рублей, конфет 2—3 килограмма, водки «Московская» — 10 поллитров, «Столичная» — 30 поллитров, вино «Белое» — 7—12 поллитров».

«А какие признаки позволили на месте происшествия определить, что именно похищено и сколько?» — написал прокурор по поводу прошлого протокола.

«Елдак,— думает старший лейтенант Простак,— не первый год здесь работаем, а он со своими порядками... Еще на ковер вызовут, если выяснится, что все это записано со слов самой заведующей ларька».

Старший лейтенант Простак поднимает голову и смотрит в зарешеченное окно. Все, что он видит — посторонние предметы. Ничего не помогает быстрее окончить протокол и отправиться на улицу Парижской Коммуны к вареникам с мясом и чарке водки. «Вон дерево торчит, срубить бы его давно, свет заслоняет. А вон кричит пьяный на улице... Затащить бы его сюда и в четырех стенах вдвоем с дежурным по печени, по печени... Через мокрое полотенце, чтоб следов не было... Но нет, не на улице это кричат, а здесь, в коридоре райотдела милиции».

Обрадовался старший лейтенант Простак, дверь настезь.

— Сын у меня, сын... Емельян... Ушел три дня...

— А? Шо?

— Где начальство? — вошел уже окончательно в нервную дрожь Яков.

— Начальство? Будет и начальство. Алкаш, я тебя не первый раз вижу...

— Как? Яков Каша... Стахановец... Фрогтовик... На всесоюзном лично...

А руки бегают, бегают, и слова выпрыгивают произвольно. Слова сами по себе, Яков сам по себе, руки сами по себе. Нет, правая уже неподвижна. За спину правая завернута так, что в локте словно переломлена.

— Общественность... социалистическая... гады... — выдавливают Яков. Лицо налилось кровью, губы отвердели.

— Борыс, где ты..? ать... мать...

— Полотенце мочу под краном, товарищ старший лейтенант.

— ... ком... кому... эхо... ухо...

Задыхается Яков в собственной рубашке, на голову натянули... заголилась спина, обнажились фронтальные раны...

— По соплям не надо! Припарки, припарки ставь... Через мокрое...

— Сомел, падло.

Лежит Яков неподвижно. А из кармана удостоверение выпало, красная книжечка. «...действительно является...» И партбилет с длительным партстажем.

Старший лейтенант Простак чешет лохматую голову. Болит голова, словно кастетом сзади стукнули...

— Перегнули... Я же говорил, по соплям не надо... Сколько раз учить...

— Так, товарищ старший лейтенант, вы ж сами...

«Чуть что — в кусты. Били вместе, а законность соблюдать хочет врозь».

— Что хотел гражданин? — строго уже спросил, как не с «Борыса», а как с сержанта, с подчиненного.

— Сын у него пропал.

— Сын? Как фамилия? Каша... Это, кажись, его в гортеатре награждали как первого комсомольца? Беда с этими старыми большевиками. Писать теперь будет. Ну-ка вылей ему воды на голову.

— Товарищ Каша, что ж вы сразу не сказали...

Тело у Якова совсем поломано на много частей, а голова отдельно от туловища лежит.

— Душить вас надо... а-ах... контру... рабоче-крестьянская... товарищ Калинин...

— Ну, товарищ Каша, нехорошо... мы советское учреждение. Бывают ошибки, ошибочки... социалистическая законность... но и каждый гражданин должен содействовать... На меня обопритесь, на меня... Сюда, на стульчик... Мокрое полотенце к губам, весь жар выгнет... Так у вас сынок пропал? Примем меры... Хотя разное бывает... Месяц назад тоже гражданин явился — жена пропала... Ушла и нет ее... А начали искать, у него в сарае под дровами, в земле пропавшая закопана. Я без намеков, просто работа сложная, и ошибки всюду возможны. Вот два дня назад неопознанный труп мужчины обнаружили на обочине шоссе. Так, чтоб он внимание проезжих не привлекал, его соломкой прикрыли какие-то граждане. Помешали расследованию. Первоначальное положение одежды нарушено.

Тело Якова, кое-как сложенное воедино на стуле, снова задрожало само по себе.

— Где?

— Что где?

— Неопознанный мужчина?

— В морге. Но вашего найдем. Утром лично я дам лучшую розыскную собаку. Сейчас, сами понимаете, собаке отдых необходим, иначе нюх теряет. Вы у нас переночуйте, а утром поедем. Сержант, проводите товарища.

И переночевал избитый Яков в камере. Сидел всю ночь на твердой скамейке и слушал, как гудит ветер.

«Беда с этими старыми большевиками-комсомольцами... Еще к прокурору побежит. Лучше на ключ», — думает старший лейтенант Простак, сидя над протоколом. Пока в третьем часу ночи добрался на улицу Парижской Коммуны, вареники уже были холодные и твердые, как уши у мертвеца с обочины шоссе. Выпил чарку водки, загрыз огурцом и лег в дурном расположении, повернувшись к жене задом.

#### 4

Утром на газике выехали с розыскной собакой в село Геройское, бывшая деревня Перегной.

Анюта, конечно, всю ночь глаз не сомкнула. Увидала, как кряхтя выбирается полусогнутый Яков с распухшим лицом из милицейского газика, подбежала, обняла, заплакала.

— Я так и чувствовала, что с вами что-то случилось.

— Ладно, упал, ударился. Ты давай что-нибудь Емельяна, шапку или рубаху.

Милиционер-проводник сначала понюхал предметы сам. Шапку он забраковал — воняет солидолом. Рубаху тоже — махрой несет. Наконец какую-то майку проводник, понюхав, поднес к мокрому собачьему носу. Собака сделала полукруг по двору, остановилась и залаяла перед дощатой дверью под лестницей на чердак. Там, «в засаде», под лестницей собственного дома, сидел три дня Емельян Яковлевич Каша, надеясь уличить жену в неверности. Провиантом он запасся осно-

вательно. Лежало на газете несколько буханок хлеба, кусок сала, лук, колбаса, вареные яйца, и стояло два ведра воды, одно уже почти выпитое.

— Каша Емельян Яковлевич? — торжественно произнес старший лейтенант Простак.

— Ну я.

— Каша Яков Павлович, признаете своего пропавшего сына?

— Признаю, — распухшими губами ответил Яков.

— Прошу подписать протокол. Тут дело, сами понимаете... Тут ведь и ложным вызовом пахнет.

Нарочно пугнул старший лейтенант, хоть это и излишне. И так молчать будет стахановец. Проглотит все, что по печени и по поясице получил.

Подписал Яков протокол, еле добрался до лежанки и свалился. А Емельян сразу же укладываться стал, вещи собирать.

— В Москву уезжаю, к другу. Там шофера нужны.

— Ты что ж надумал, — шевелит губами Яков. Кажется кричит, а на самом деле шепчет.

— Я не к вам обращаюсь, я к жене моей, — говорит Емельян, — вы не отец мне, а змей-горыныч. Видел я, как вы жену мою, родного сына, соблазнить хотели... И она к вам липла... Но с ней я еще потолкую...

— Это на отца так, — задыхается Яков, — на отца... — и заверещал новым голосом тонко, — на отца-а-а-а... А-а-а... — за голову схватился.

— Не обращайтесь внимания, Яков Павлович, — говорит Анюта, — сдурел он.

— А ты поменьше болтай, собирайся... И сына одевай... Чтоб эту ночь, в этом проклятом доме, этим проклятым воздухом я уже не дышал...

Так сказал, что дальше уже говорить нечего. Замолчали все. Только под вечер Анюта нарушила молчание, подошла к Емельяну и тихо:

— Отец ведь больной... Подождали бы хоть несколько дней, пока поправится...

— Пусть бы и подох, — громко говорит Емельян, — ненавижу я его... Удушил бы...

Так и уехали. И остался Яков один. Емельян специально следил, чтобы жена с отцом не попрощалась. Но, когда Емельян отлучился по нужде, она торопливо подошла и поцеловала Якова в мокрое от слез горячее лицо. И Яков понял, что в последний раз он чувствует запах ее волос, слышит ее скорый и легкий шаг, видит ее всю наяву такой, какой долгие годы будет видеть во сне. Полина ушла под трактор, а Анюта в проем двери, и обе окончательно слились воедино в смерти своей. «Прощай, прощай, сердце мое».

И начал Яков не жить, а доживать свои годы. Особенно трудно было первое время. Работал он, как прежде, по-стахановски, но уже без прошлого аппетита к труду. Придет с работы в пустую хату, сядет, не ужиная и не снимая спецовки, и говорит, глядя в потолок.

— Заболел я, Анюта, совсем заболел.

И так подолгу сидеть может и одно повторять.

Как-то зашел к нему Ефим Гармата, спросил, бодро поздоровавшись:

— Как живем, как жуем?

— Живем хреново, а жевать не хочется, — признался Яков.

— Пишет Емельян?

— Нет, молчит... Да мне не он важен, к нему у меня сердце остыло. Внучок у меня там, Игоряха, и Анюта, мать его.

— Да, да, я слышал, — неопределенно как-то сказал Ефим Гармата и потупил глаза, — Губко хотел на партбюро дело раздуть, но я пресек... И в райкоме меня поддержали...

— Какое дело?

— Ну... По аморальной части...

Опять руки пошли в ход у Якова... И зрачки расширились.

— Меня... По аморальной части...

— Так я же говорю, пресек... И не будем больше об этом... Но здоровье у тебя сильно амортизировано, а мы не можем вот так разбазаривать кадры старых большевиков. Решено поставить тебя на капитальный ремонт, с направлением в профсоюзный санаторий. А по возвращении будет тебе новое партийное поручение... Хочу поделиться с тобой радостным известием. За хорошие трудовые показатели коллективу разрешено вывешивать на дворце культуры не просто портреты отдельных выдающихся деятелей партии и государства, а портреты членов политбюро в полном составе, в то время как кондитерско-макаронную фабрику в Трындино, за срыв квартального плана, этого права лишили. Так что портреты примем от них по безналичному расчету.

Есть болезни органические, а есть болезни нервные. Внешне их не отличишь. Но даже рак бывает на нервной основе. И еще в библейской древности нервные болезни лечили наложением рук. Конечно, не просто руки должны быть. Всякая рука может ударить, однако не всякая способна вылечить. В данном случае заботливая рука старого друга, большевика Ефима Гарматы подняла Якова Кашу из праха.

Поехал он в профсоюзный санаторий, окреп, развеялся, загорел, подышал горным воздухом... Одно он себе не позволил, санаторный роман завести с какой-нибудь загорелой отдыхающей. Да оно и излишне. Беда толпой ходит, и радость тоже. Дома ждало его письмо от Анюты. Писала, что отправила письмо тайком от Емельяна, что скучает, что устроены они прилично, живут в общежитии, но обещают квартиру. Емельян работает шофером. А Игоря растет.

Скучно писала Анюта, но чем скучнее, тем ярче. Значит, все приладилось. Значит, нет ни ахов, ни охов, ни вздохов. И впервые он принял радостную весть не по-партийному, принял вопреки своему атеистическому убеждению большевика-комсомольца: «Господи, благодарю Тебя, Господи. Господи, спаси и помилуй». Откуда и слова взял, не понял, и высказался неосознанно. И пожалел, что в партии нет молитв, а есть только решения-выполнения, слушали-постановили.

Поделился Яков этими новыми мыслями с Ефимом Гарматой, а также рассказал, что реагировал на радостное известие по-церковному. Задумался Ефим Гармата, глядя на текущую мимо речную воду. Дело было на рыбалке, парило с утра, собирался дождь, и рыба клевала хорошо. Развели костер, наварили из лещей уха в котелке, открыли четвертинку.

— Каждый человек рождается беспартийным, — сказал наконец Ефим Гармата после продолжительного молчания, — на этом наши враги свой главный расчет строят...

И больше ничего не сказали на эту тему, ели уху, пили водку и смотрели, как трепещет, умирает на траве пойманная мелкая плотва.

Новую свою работу Яков воспринял так, как привык воспринимать всякую работу — по-стахановски. Портреты, принятые по безналичному расчету от кондитерско-макаронной фабрики, были далеко не в безупречном состоянии. Надо было сменить кое-где рамы, а на холстах, в том числе у Генерального-Центрового виднелись сырые пятна. На любой работе Яков для простоты заводил свои, только ему понятные названия, в моторе ли, в рабочих ли операциях. Так и здесь, общеизвестные всесоюзные, даже всемирные изображения он по-своему назвал для удобства. Делая профилактический осмотр, он записал: «Центровой — три пятна — на лбу, под глазом и на галстукке. Болезненный — поправить верхний левый крючок для подвески. Лобастый — с рамы облупилась краска. Носатый — норма. Подметайло — рама треснула...» Был, когда-то, еще в молодости, у Якова приятель,

завхоз Подметаило, хороший, но пьющий человек, очень похожий внешне на одного из нынешних государственных руководителей. Конечно, все эти записи Яков вел исключительно для себя и никому их не показывал. Были теперь у Якова и другие обязанности: двор убирать, объявления на щитах вывесить. Но стахановскую трудовую душу свою он вкладывал полной мерой в предпраздничные дни. Не всегда все было гладко. Приходилось ставить вопрос остро, добиваться на партбюро новых средств на праздничное электроосвещение, на новые транспаранты и плакаты. А заявление Губко о том, что плакаты не следует возобновлять, поскольку политика партии остается неизменной, он прямо назвал антипартийным.

И верно, в политике форма так же важна, как и содержание, а может, еще более важна, чем содержание. Если флаг или транспарант висит слишком долго на солнце, дожде и ветре, он теряет свой большевистский красный цвет и становится по-меньшевистски розовым. Точно так же, хоть и в ином плане, подвергаются изменениям при длительном многолетнем использовании портреты партийно-государственных деятелей... Ввести бы рационализацию и вместо портретов высекать политбюро из гранита: передвижные скульптуры... На агитации и пропаганде экономить не следует...

В трудах и хлопотах заново наладилась жизнь Якова Каши. Зарабатывал Яков неплохо, поскольку получал он частично и пенсию. И посылал он деньги Анюте «до востребования» в Москву, так как, судя по ее письмам, Емельян опять взялся за свое. Пил, буянил и устроился подсобником в продовольственный магазин. Сама Анята все обещала выбраться, приехать. Но не приезжала, а наоборот, стала писать вдруг реже и реже, главным образом, письма с просьбой прислать деньги. Так прошло одиннадцать лет.

## 5

Июньским утром 196... года, получил Яков телеграмму от Аняты: «Встречай Игоря».

Поезд прибывал вечером в шестом часу, но Яков поехал задолго, зашел в Трындино в парикмахерскую, побрился, постригся, рассказал равнодушно поддакивающему парикмахеру о своей радости и вышел, благоухая «Тройным» одеколоном и нафталином, исходящим от его праздничного в полоску костюма.

Весна еще ушла не совсем, и молодой июньский день даже и в шестом часу был по-утреннему свежий, чистый, и новизна травы, цветущих во дворах яблоневых, грушевых, вишневых деревьев, сладкого, прохладного воздуха, которым хотелось напиться до отвала, все это придавало очевидной красоте ту скрытую отвлеченность, которая рождает символическую поэзию. Поэзию, смысл которой спрятан от людей, подчиняющихся вещественной основе мира, будь то Карл Маркс или Яков Каша. В определенные моменты личной судьбы дуновение мирового Хаоса ласкает их головы, будь то голова Карла Маркса или Якова Каши, и они тоже слышат музыку Вселенной. Однако музыку без слов или, вернее, музыку вне слов, строго расставленных и точно указывающих, на каком расстоянии друг от друга должны находиться верстовые столбы научного коммунизма вдоль дороги общественного прогресса.

Так Яков Каша шел по дороге к вокзалу, молодым строевым шагом, дышал глубоко, улыбался и под рожденную в глубинах вселенной мелодию пел негромко: «Нас встречало население, что стояло над рекой... Эй, комроты, даешь пулеметы...»

На него оглядывались, думая, что пьяный. Однако Якову эти взгляды и насмешки были безразличны: «Внук, внук приезжает, Игоряха... Одиннадцать лет не видел. Младенцем помню. Болезненный был. А сейчас, видать, вымахал».

Поезд опаздывал и настроение у Якова стало портиться, он ходил ругаться с дежурной, а когда вдали показался тепловоз, то Яков побежал вдоль перрона и выбил из рук у какого-то пассажира чемодан, получив в спину несколько матюгов.

Игоряху Яков узнал сразу, хоть и не был он похож ни на Емельяна, ни на Анюту. «На дядьку Климентия похож». Был у Якова дядька Климентий, брат его матери. «На Климентия похож. Большая голова, рост невысокий, а волосы курчавые. Климентий любил книжки церковные читать». Игоряха приехал с книжками в потертом чемодане.

Пожужинали обильно свининой жареной и пирогом с вишнями, который Яков сам печь научился. Что поделаешь — бобыль. Поужинали, и Игорь сразу сел книжки читать.

— Про что книжки? — спрашивает Яков, чтоб начать разговор.

— Научная фантастика, — отвечает Игоряха.

— Хорошее дело, — говорит Яков, — значит, по научной части пойдешь. Учись, я помогать буду. А отец-мать как?

— Отца давно не видел. В прошлом году последний раз.

— Это почему же?

— Пьет он и дерется. К матери приходил деньги требовать. Но его дядя Паша-мясник побил, и он с тех пор не ходит.

— Какой мясник?

— Который с мамой в магазине работает. Только она в бакалейном, а он в мясном.

И горечь поползла от гортани Якова вниз по кишкам. Никогда он не забывал Анюту, а если и забывал, то как забывал, что живет и дышит.

— Мама что ж... за этого мясника замуж вышла?

— Нет... Она с ним так живет.

— Как так? Ты что такое говоришь? На мать такое... Ты откуда знаешь?

— А я видел, — отвечает Игоряха, не отрываясь от книжки.

— Как видел? Ты свою книжечку брось, когда с тобой родной дед говорит.

— Глазами видел, — отвечает Игоряха, — я урок не выучил, географию, домой раньше ушел и в окошко заглянул, есть ли мать. Если есть, я еще погуляю, чтобы не ругалась... Мы на первом этаже в коммуналке... Заглянул, а мама с дядей Пашей на кровати оба голые... Борьбу устроили... То мама сверху, то дядя Паша... Я понял, не первый раз это... Прихожу, стучу, не отпирают долго, а откроют, за столом сидят усталые и вино пьют... Сейчас занавеска была плохо задвинута...

— Мама что, тоже пьет?

— Пьет, но не так, как отец... Она не дерется, только разок ущипнула меня. Чаше выпьет — спит или плачет.

— А сейчас где мать?

— Отдыхать под Москву уехала, в Рузу.

— С дядей Пашей?

— Нет, с дядей Витей.

— Каким дядей Витей?

— Художником.

Больше ни о чем не стал Яков внука спрашивать. Каждое слово, как раскаленными клещами кусок мяса от тела рвет.

Пришел Ефим Гармата глянуть на внука.

— Ну как?

Поделился с ним Яков. С кем же еще поговорить — единственный старый друг.



— Да,— отвечает Ефим Гармата,— дают еще себя чувствовать пережитки, болячки, унаследованные от прошлого... А внук как?

— Внук хороший, книжки читает.

— Это главное. Молодежь — это гвардия будущего. Ты только проследи, какие книжки, а то теперь пишут... Читал, в газете пишут про идеологические шатания?

— Он по научной части читает, фантастику.

— Это хорошо. Это про космонавтику. Хорошо.

И книжки одобрил, и внука одобрил Ефим Гармата. А у него глаз намаган, старый общественник. Поговорили и о деле.

Изменения в составе Политбюро редко бывали, но все же случались. Кого-то введут, кого-то выведут. Значит, надо новый портрет заказывать. И расположение по левую и правую стороны от Центрального может быть новое. Райком указывал Ефиму Гармате, как должен висеть каждый портрет, а Гармата в номерном порядке слева и справа от Центрального указывал расположение портретов Якову. Яков же у себя заметки делал: «Болезненный — справа третий, Николай Иванович Подметайло — слева второй, Худощавый — справа четвертый и т. д.»

До очередного праздника далеко, но все должно быть заранее проверено. Наглядная агитация и пропаганда — дело серьезное. Недаром село Геройское, бывшая деревня Перегнои, неоднократно отмечалось за оформление дома культуры в праздничные дни и районной газетой и в райкоме.

Игоряхе село Геройское понравилось, и с дедом он подружился. Начал приезжать в год по разу. И сроднились они, как могут сродниться одинокие люди. Каждый год теперь Яков считал дни, считал недели, считал месяцы до приезда внука.

— Три месяца четырнадцать дней осталось,— говорил он Ефиму Гармате,— месяц остался, полторы недели осталось...

А проводит Игоряху в Москву, домой придет и сразу заметку делает, новый счет открывает к новой встрече, и горечь разлуки не так печет.

Когда повзрослел Игоряха, начались у него с дедом противоречия, хоть и любовь осталась прежней. Начались насмешки, ибо Игоряха смешливым вырос.

— Ты,— говорит,— у меня, дед, Распутин. Бороду только побольше заведи.

— Это как же Распутин? Который такой?

— Распутин,— смеется Игоряха,— мужик, который при царе министров снимал и назначал... И ты здесь, в селе Геройском, бывшая деревня Перегнои, руководителей партии и государства снимаешь и назначаешь...

Недаром Ефим Гармата предвидел. Книжки дело хорошее, но книжки книжкам рознь. Начал Игоряха привозить какие-то другие книжки, не показывает их и что-то пишет, выписывает оттуда. А в последний раз с крестом на груди приехал.

— Ты что, верующий?

— Верующий.

— Как же так? Дед твой с молодых лет комсомолец, а ты, значит, другой путь выбрал.

— У каждого, дед, свой путь.

— Знаю я,— говорит Яков,— ваш Христос за что агитирует. Поцелуй врага своего... Так?

— Ну, допустим,— смеется Игоряха.

— А разве это реально? Кто же врага своего поцелует, кроме сумасшедшего? Меня хоть режь, хоть жги, я никогда американского банкира не поцелую.

— Ну, пойдй, секретаря райкома поцелуй,— смеется Игоряха.

Задумался Яков. «Что-то мы в молодежи не поняли и где-то допустили ошибку», — поделился на рыбалке своими сомнениями с Ефимом Гарматой Яков.

— Сироты они у нас, — после долгого молчания, глядя на речную воду, ответил Ефим Гармата, — умер отец наш, Иосиф Виссарионович...

И заплакал вдруг, дыша свежей ухой и водкой, привалился к плечу Якова. Оторопело сидел Яков. Всегда его Ефим утешал, а тут Ефима утешать приходится. Слышал он, что какие-то неприятности у Ефима в райкоме. Новый секретарь райкома Клещ с Губко дружен и Тарашука, выкормыша Губко, хочет в секретари партбюро протащить. А старую сталинскую гвардию на пенсию.

— Но мы еще поборемся, — доверительно сказал Ефим Гармата, — у меня повыше опора есть. Я на обком обопрусь... Я Алексею Степановичу, лично...

И они снова долго сидели, глядя на багровый закат.

— На живодерню скоро меня, — с горечью говорил Гармата, — как старую клячу... И шкуру обдерут... Теперь на партийной работе другие нужны... В спинжаках.

— Не простая стала жизнь, не простая, — ответила Яков, — но, может, так и надо... Чем выше в гору, тем тяжелей. А коммунизм ведь как называют — вершина... Я в профсоюзной санатории когда был — красота... Горы, как сахарные головки... Сахар в голубом небе... Не лизнешь, а во рту сладко от одного вида... Вот так, может, и коммунизм, рафинад наш небесный... Не лизнешь, а во рту сладко...

— Во рту-то сладко, да в животе урчит, — ответила Ефим Гармата, — давай-ка лучше ушицы... Хороша получилась ушица, с жирком.

Так ушицей и успокоился старый товарищ. Товарищ — дело хорошее, испытанное. Потому обрадовался Яков, когда Игорь приходит, говорит:

— Друг мой ко мне едет, товарищ мой.

— Какой товарищ?

— Валерка Товстых. Мы на исторический факультет в университет вместе намерены.

«Хорошо, — думает Яков, — сам я безграмотный, сын с дороги сбился, да внук радуется... Хорошо».

Приезжает Валерка. Рыжий парень, увалень и спорщик. Ходят с Игоряхой по селу и спорят. Да как спорят, о чем? Про то, про что враги народа шептались на заре индустриализации и коллективизации, они в голос кричат. Игоряха, оказывается, за эсеров, а Валерка за монархию. Забеспокоился Яков, плохо стал спать. Как сказать Игоряхе, что дурной товарищ хуже татарина. Но само уладилось — поругались. Шли лесопосадкой, там хорошие молодые дубки вдоль узкой колеи, по которой гранит с карьера возят. И навалился Валерка на Чернова, покойного лидера эсеров. Игоряха хочет защитить, привести веские аргументы, а Валерка не дает, насаждает и насаждает, разгорячился. Тогда Игоряха останавливается и говорит:

— Можно, между прочим, разогнаться и удариться головой вон об то дерево.

Валерка тоже останавливается и отвечает:

— Раз ты так, то ладно... Мы шли по дороге, теряя друзей, а женщины наши ушли на панель.

А Валерка был, оказывается, не только монархист, но и крепкий бабник.

— Из всех видов спорта, — говорил он, — я предпочитаю бабенбол. По сути, это комплекс ГТО. Тренируется дыхание не хуже бега, пресс и мышцы спины не хуже гимнастики, есть борцовские захваты, есть ситуации, близкие к прыжку, есть как тактическое, так и стратегическое мышление, необходимое любому спортсмену от футболиста до шахматиста.

Не столько на почве политической дискуссии, сколько на почве эроса держалась дружба Игоряхи и Валерки. Ведь Дон Жуан любого калибра может обойтись без высокого роста, мужественной внешности, светлых, как лен, либо черных, как смоль, кудрей. Но он не может обойтись без мужского нахальства. Нахальства этого Игоряхе и не доставало, а у Валерки столько было, что мог бескорыстно поделиться. Однако в дубовой роще произошел разрыв на политической почве. Взял Валерка свой чемодан и ушел на станцию. Яков радости своей скрыть не может.

— По такому поводу, Игоряха, выпить надо... Плохой друг, как зверь лесной,— спиной не поворачивайся.

Но Игоряха сидит у стола мрачный, не отвечает. Выпил наливки, нехотя пожевал пирог. Вдруг через час примерно свист с улицы. Как встрепенется Игоряха, как вскочит, засиял весь и выбежал. Узнал Валеркин свист. Валерка у забора с чемоданом стоит, а рядом с ним две молодухи.

— Вот,— говорит Валерка,— арестовали они меня на станции, назад привели.

А молодухи: ха-ха-ха,— смеются дуэтом. О этот женский смех в полутьме, кто может устоять перед ним. О этот развратный смех незнакомых женщин в сумерках.

Стемнело уже, где-то на карьере ухала дробилка, за соседним забором мычала корова перед вечерней дойкой, и волнуяще тянуло сыростью. Кто может помешать тому, что должно свершиться в вакхической тьме.

Яков выглянул из калитки, и Игоряха сказал ему грубо, как никогда ранее:

— Дед, чего лезешь не в свое дело?

Яков обиделся, но старался себя утешить: «Вырос Игоряха... Забыл ты, Яков, как сам молодой был. Про Полину забыл, бабушку Игоряхи, и про Анюту, мать Игоряхи. Эх Анюта, Анюта...»

Бывают особые вечера, когда в воздухе растворено томление, сладко, как в горячей бане, ноют кости, и по животу скользит вниз от пупа та самая щекотка, застывая в напряжении.

Одна молодуха была соломенная вдова лет 23, тяжелая, грудастая, разведенная месяц с небольшим. Ее облюбовал для себя Валерка. Вторая была дважды разведенная Зинка Чепурная, которая своей подружке в матери годилась и у которой действительно подрастала пятнадцатилетняя дочь. Зинка Чепурная, благодаря миниатюрному сложению и чернявости, сохранила себя и казалась гораздо моложе своих лет. Впрочем, Игоряхе, как всякому девственнику, нравились женщины старше и опытнее его. Наконец должно было свершиться в жизни Игоряхи событие, равное второму рождению. Много раз не получалось, а сейчас, он понял, получится.

Мигом отнесен был чемодан Валерки, мигом надет был праздничный пиджак, а волосы, шея, подмышки сбрызнуты одеколоном «Шипр». Видя такое возбуждение и суету, Яков не препятствовал. Чем раньше Игоряха познает, тем раньше поймет, что жизнь обманывает нас сильнее всего там, где мы более всего ждем от нее удовольствий.

Вчетвером дошли до дома культуры, а там разошлись.

— Ни пуха, ни хера,— игриво крикнула Валерка вслед Игоряхе.

Зинка знала, чего не знал о ней Игоряха, знала, что это сын ее прошлого ухажора Емельяна. Гармониста, с которым у нее так все ладно получалось в молодости. Может, выйди она замуж за Емельяна, по-другому сложилась бы жизнь и у нее и у него. Говорят, спился где-то в Москве. Какой парень был. Сын, конечно, не то, хлипкий. Но и хлипкий, если разбежится да разойдется...

Зинка повела его к реке. Здесь стучались бортами и гремели цепями несколько рыбацких лодок-плоскодонок и чернело какое-то

строение. То был небольшой сарайчик, сколоченный рыбаками для своих нужд. У Зинки был с собой ключ, она отперла и сказала Игоряхе:

— Нагнись, головой треснешься... Штаны сюда, на жердочку повесь.

Она, знала, что первый раз снять штаны перед малознакомой женщиной для девственника самое трудное. Действительно, Игоряха начал стаскивать штаны лихорадочно, стараясь быстрее от них освободиться и в то же время пугаясь этого.

— Что ты суетишься, точно я на тебя ружье навела,— сказала Зинка, шагнула к нему и помогла. И Игоряха ухватился за ее тело, как утопающий за умелого пловца. Пересохший рот вновь наполнился слюной, и к нему пришло ощущение человека, который первый раз поднимается в воздух. Он тщательно изготавился и вдруг понял, что уже давно летит... Было именно ощущение полета, но не во сне, а наяву... Такое чувство возможно только в первый раз в ранней молодости, почти мальчишестве и с умелой женщиной, не сверстницей. И был момент, когда никаких преград и углубление в самые кишки дьяволу...

Так, конечно, не думалось тогда Игоряхе, но так пелось без звука, так играл он собой, и так играла им ночь и женщина.

Потом Игоряха сидел с Зинкой, обнявшись, до утра, на лодке, накинув ей на плечи свой пиджак. Поднялось холодное еще солнце, озарило реку, листву деревьев, ослепило... Стадо мыча спускалось к воде. Пора было уходить.

## 6

Яков Каша узнал о случившемся быстро. От пастухов распространилось по селу.

— С Зинкой Чепурной! Да она тебе в матери годится! Отец ее бабку твою Полину трактором задавил. А сама Зинка, знаешь, кто? Она семью нашу развалила. Она с Емельяном, отцом твоим...

Сказал и пожалел, что сказал. Глянул на него Игоряха и узнал Яков Емельянов взгляд в момент ненависти. Но не мог уже удержаться Яков.

— Гаденьш ты!

Бегают руки, бегают, и поясница ломит, точно тяжесть несет. Как побили его много лет назад в милиции, с тех пор разволнуется Яков — ломит поясницу.

Ничего не ответил Игоряха, собрал свои вещи, вышел, и к дому Зинки. Она ему перед расставанием сказала, что дочь ее в пионерлагере. Нашел дом, но заперто. Хорошо Валерку встретил. Идет веселый.

— Ну, как?

— К твоей можно чемодан поставить?

— С дедом поругался? Ладно, я тоже свой перенесу.

Нажарила Надька, соломенная вдова, сковородку картошки, моченых яблок поставила, соленых огурцов, самогонки. Выпил Игоряха. Впервые напился, упал на лежанку. К вечеру проснулся, вышип рас-сольчику, полегчало.

— К своей пойдешь? — спрашивает Валерка.

— Пойду,— отвечает Игоряха, а сердце колотится, колотится...

Прическу поправил, вынул из чемодана «Шипр», надушился, пошел. У Зины в хате свет горит. Значит, дома. Только бы дочери не было. Через забор Игоряха и огородом к окнам. Вдруг видит, мужик в кальсонах руку к выключателю протянул, и погас свет. Темно стало внутри и снаружи. Но залаяла собака, и опомнился Игоряха — через забор и бегом к реке. Возле реки, возле рыбацкого сарая, упал в траву и плакал, плакал, придавив с затылка руками свою голову к земле... Утром Игоряха уехал, не повидав деда, а Валерка еще неделю пожил в

селе Геройское, бывшая деревня Перегнои, у Надюхи, соломенной вдовы. Правда, прогуливаться по деревне не решался и деду Якову на глаза старался не попадаться. Но дед Яков и сам на улицу не показывался, совсем плох стал. Тоска такая, словно в гробу лежит. Однако тоска дело личное, а работа дело общественное.

Наступила осень, приближалась очередная годовщина Октябрьской революции, и встретить ее надо было Якову Каше с полной мерой ответственности. К тому времени произошли хоть и небольшие но существенные изменения в составе политбюро. Портрет, обозначенный «от Центрального номер два слева — Пристяжной», убирался вовсе, вместо него заказано было в райИЗО два новых портрета, номерной знак которых должен был быть уточнен райкомом. А следовательно, предстояла общая перестановка руководящего состава политбюро на фасаде дома культуры села Геройское, бывшая деревня Перегнои. И Яков Каша решил воспользоваться перестановкой в своих целях, т. е. заодно заказать второй комплект портретов членов политбюро. Хоть портреты, полученные по безналичному расчету от кондитерско-макаронной фабрики, содержались Яковым образцово, однако окончательно сырые пятна на холстах и трещины в рамках преодолеть не удалось.

— К тому же,— говорил он Ефиму Гармате,— наши руководители изображены на портретах в молодом возрасте, а теперь необходимо показать их в зрелом расцвете, ибо народ нашего села видит их по телевизору в одном облике, а на фасаде родного клуба совсем в другом.

Вysłушали Якова, одобрили, бухгалтерия выделила средства, и портреты были изготовлены. Яков Каша принял их лично, осмотрел новенькие полированные рамы, чистые холсты, четкие изображения немолодых, но крепких лиц. Портреты членов политбюро были торжественно привезены Яковым на специально выделенном микроавтобусе и помещены в хорошо проветриваемое помещение.

Так работа шла своим чередом, а личная жизнь своим чередом. Игоряха на письма не отвечал. Анюта тоже не писала, а о Емельяне Яков уже и думать перестал. По ночам сильно болела поясница, холодели ноги. Утром Яков просыпался, точно его всю ночь колотили, пил дурно заваренный вчерашний чай, без аппетита жевал хлеб с жирной колбасой.

Вот в таком состоянии он и пришел накануне праздника к Ефиму Гармате получать разнарядку на порядок расположения портретов. Вместо Ефима Гарматы он застал в партбюро Таращука, избранного по предложению Губко к Ефиму в заместители.

— Садитесь, Яков Павлович,— любезно сказал Таращук.

— Нет,— ответил Яков,— спасибо, я по делу.

— По какому делу?

— Насчет расположения портретов членов политбюро.

— А, да, да... Разнарядка из райкома уже получена, могу ознакомить.

— Нет, спасибо, я привык по этому вопросу с товарищем Гарматой.

— Ну, как знаете... Товарищ Гармата простужен, он на бюллетене.

— Спасибо за сведения,— дипломатично отвечает Яков и прямоком к Гармате домой.

У Гарматы Яков застал небольшую предпраздничную выпивку.

— Садись,— обрадовался Гармата,— третьим будешь.

А вторым был незнакомый мужчина, лысый, с продолговатым, как у коня, лицом.

— Свояк мой,— отрекомендовал Ефим,— в гости приехал.

— Ты что ж, Ефим, заболел? — спрашивает Яков.

— Да что-то першит у горловине, прополоскать надо.

Выпили, вкусно, по-семейному закусили, как давно уж Яков не закусывал.

— Я насчет разнарядки райкомовской,— сказал Яков, цепляя вилкой шипящее еще, жареное сало,— прихожу в партбюро, там Тарашук сидит.

— Да, старая сталинская гвардия кое-кому не по душе,— сказал Гармата, глянув на свояка,— но мы еще не на последнем месте в государстве... Мы, старые стахановцы, комсомольцы, большевики тридцатых годов... Верно, Яков?

— Верно,— отвечает Яков, чувствуя головокружение от выпитого,— но прежде давай райкомовскую разнарядку рассмотрим... А то члены политбюро у меня новые, на них еще номера не проставлены.

— Пиши,— говорит Гармата и достает из тумбочки разнарядку,— вообще партийные документы брать домой не следует, но я в виде исключения,— и диктует,— центр ты знаешь... Центр прежний... Справа первый товарищ... справа второй товарищ... слева первый товарищ... справа пятый товарищ... и т. д.

Своjak слушал, слушал и вдруг говорит:

— Конечно, этим теперь легко. А попробовали бы в наше время. Тогда врагов народа было много, это не то, что теперь — Сахаров, да тот, что по телевизору каялся, да еще пара лацанов... Я в охране Кремля работал. Строгость и порядок были. Тяжело было служить, но порядок. Жара не жара, окна в караулке закрыты. Если форточку случайно откроешь, выстрелить могли. Особенно мы с Василием Иосифовичем мучались,— предался сладким воспоминаниям свояк,— нарушал порядок, ох нарушал. Едет в Кремль на полной скорости. А любая машина должна тормозить, иначе стреляем. Ой, говорит, да как же я буду тормозить. Я легчик, я скорость люблю. Может, я какой-либо знак вам подавать буду,— расчувствовался свояк. Улыбка на губах, слезы на глазах.

Поговорил Яков со своими современниками, легче на душе стало. А когда на душе легко, то и работается по-стахановски. Вовремя, умело вывесил Яков портреты членов политбюро, украсил фасад электрическими лампочками, и в общесоюзном праздничном убранстве село Геройское, бывшая деревня Перегной, снова не на последнем месте оказалось. Об этом и районная газета накануне праздника писала.

На третий же день праздника, в восьмом часу утра, в квартире секретаря райкома товарища Клеща раздался телефонный звонок. Отрыгивая коньяком, Клещ с трудом полуразлепил глаза и почти на ощупь взял трубку. Звонил дежурный по райкому инструктор Могиальный.

— Чего ты?

— Богдан Спиридонович, прошу прощения за беспокойство. В селе Геройское с портретами членов политбюро непорядок.

Жилистые, волосатые ноги Клеща уже в штанах, левая рука уже ремень застегивает, по пуговицам ширинки побежала, как по клавишам гармонии.

— Сам видел?

— Нет, сигнал поступил...

— От кого?

— Человек мне звонил...

Человек этот был секретарь комсомольской организации школы десятилетки села Геройское, Слава Шепетиллов, ученик 9 класса. Слава Шепетиллов был ходячей политической энциклопедией села Геройское, а возможно, и всего района. Он знал фамилию-имя-отчество не только центрального руководства, но также всех союзных республик, руководителей социалистических стран и мирового коммунистического движения. Ученики, поступающие в комсомол, были буквально терроризированы политическими вопросами, так что Славу, с теплотой, разумеется, по-дружески сдерживали более старшие товарищи: «Не каждый поступающий может обладать полными политическими знаниями. Комсомол для того, чтобы эти знания развить и привить».

Урезонивали его, объясняли, но Слава на бюро не выдерживал, засыпал робко краснеющее юное пополнение политически зрелыми вопросами: «Кто секретарь коммунистической партии Гондураса? В каком году была создана коммунистическая партия Шри Ланки? Сколько партийных съездов было в Болгарии?»

Вот этот-то Слава Шепетиллов и просигнализировал рано утром в райком, на третий день праздника. Утром, когда полагалось измученным партийным руководителям спать, спать и спать после демонстраций, митингов, торжественных заседаний и заздравных тостов.

Весть о событиях в селе Геройское была тем более неприятна, что менее месяца прошло, как Богдан Спиридонович присутствовал на узком совещании в соответствующем учреждении, где говорилось об участившихся случаях идеологической диверсии в адрес партийно-государственных символов, лозунгов и эмблем. В одном месте (секретарь райкома такой-то) прицепили непристойную листовку с матерщиной в адрес политики партии в области обеспечения населения продовольствием. В другом месте (секретарь райкома такой-то) на плакате Самому товарищу... чернилами нарисовали длинные усы. В третьем месте (секретарь райкома такой-то) некий гражданин, выйдя на балкон, призывал уничтожить «царство американского сионизма». Это не вызвало бы возражений, если бы гражданин был одет хотя бы как физкультурник, то есть в майке и трусах. Но на нем был только пионерский галстук, хотя гражданин был уже пожилого возраста, а на голове — сложенная из газеты «Правда» треуголка. Кроме того, антиссионистские призывы он чередовал с петушиным криком и здравицей в честь «интернационалиста Большакова». Сперва думали, что речь идет о местном хулигане Витьке Большакове по кличке Петух. Но во-первых, Витька в настоящее время находился под следствием за изнасилование в нетрезвом виде тещи своего брата Вовки и никаких связей с гражданином никогда не имел, а во-вторых, в номере «Правды», из которой гражданин сделал себе треуголку, была обнаружена антиссионистская статья В. Большакова, однофамильца Петуха. На этом успокоились. Гражданин был водворен назад в психлечебницу, клиентом которой состоял, а секретарь райкома получил выговор по партийной линии.

Вот почему всполошился так Богдан Спиридонович. Мигом вызвал он из гаража машину. Не «Волгу», а «газик», ибо предстоял боевой выезд. Была проведена и срочная перестановка кадров. Вместо Могильного был поставлен дежурным другой сотрудник райкома, а инструктор Могильный взят с собой.

Попетляли между мокрыми городскими заборами, выехали в мокрые поля и инкогнито, без сообщения местному начальству, в начале десятого оказались на пустынной сельской улице перед клубом села Геройское... Глянули на портреты. Висят в полном порядке в окружении лампочек, знамен и плакатов. Недаром районная газета отмечала образцовое праздничное убранство дома культуры села Геройское.

— Ну, товарищ Могильный, так что ж это за апрельские шутки в ноябре?

Покраснел инструктор Могильный. Действительно, вот в центре Сам... вон по правую руку Лично... вон по левую руку Непосредственно...

— Богдан Спиридонович,— лепечет инструктор,— в общем, как говорилось при старом режиме, слава Богу...

— Богу-то слава,— отвечает Богдан Спиридонович,— но Бог инструктором по идеологии пока еще в моем райкоме не работает.

Загрустил Могильный. Холодом повеяло. Тут к «газику» подбежал вихрастый мальчишка в очках.

— Комсомолец Шепетиллов... Здравствуйте, это я звонил в райком.

— Комсомолец, значит,— говорит Могильный, выскакивает из машины и мальчишку за плечо,— а зачем же ты партию обманываешь, комсомолец?

— Так я же не знал, что так положено.

— Как положено?

— Два портрета вешать товарища... — и назвал ветерана политбюро, — третий слева от Генерального висит и еще раз пятый справа... Только один портрет периода исторического пленума ЦК в октябре 1946 года, а второй портрет периода подготовки XXV съезда партии.

Глянули повнимательней. Действительно, висят два портрета одного и того же знаменитого и уважаемого партийного лица. Близнецов в политбюро повесили. Три дня висели близнецы среди портретов членов политбюро и никто не заметил, кроме Славы Шепетилова. Хотя, если приглядеться, пиджаки у них разные и галстуки тоже. Можно данный художественный факт принять во внимание, конечно, в виде исключения и учитывая личное душевное состояние агитатора Якова Каша... Можно оправдать, учитывая его долгую безупречную службу. Но в политике, как в картежной игре, оправдаться невозможно. Поди докажи, почему у тебя в колоде два бубновых короля или два трефовых валета. «Да просто перепутал, нездоров был, известие дурное получил». Перепутал, а его бильярдным кием по спине...

Через неделю после праздников собрали в селе Геройское партбюро. Председательствовал Тарашук. Ефим Гармата в качестве рядового члена сидел потупив глаза, на обвиняемого Якова Кашу старался не смотреть. Выступил инструктор райкома Могильный.

— Товарищи! Надо нам не только учиться у классиков марксизма, но и понимать их. Что говорил товарищ Карл Маркс? Ничто человеческое мне не чуждо. Это что значит? Это значит, что в каждом из нас, членов партии, помимо партийного есть человеческое. Но у товарища Карла Маркса партийное всегда брало верх над человеческим, а у товарища Якова Каша человеческое взяло верх над партийным...

Выступил Губко.

— Наши знамена, наши плакаты и особенно портреты наших руководителей есть наглядное оформление наших великих целей по строительству коммунизма. Портреты наших руководителей есть наглядная агитация народа за наши идеи. Понимал ли это бывший секретарь партбюро товарищ Гармата, когда он поручал Якову Каше, человеку малообразованному, столь ответственный идеологический участок? И не надо, товарищ Каша, кичиться тем, что вы старый член партии. Член партии возраста не имеет. Настоящий член партии всегда молодой. Наше политбюро, руководство нашего государства — самое молодое в мире.

Тут Губко несколько поправили.

— В партии есть старые члены партии, но главное не возраст, а опыт и зрелость.

Выступил Ефим Гармата. Постоянно отхаркиваясь в платок, натужно простуженно дыша он сказал.

— Знал я о человеческих недостатках члена партии Якова Каша, но по личным причинам скрывал их и покрывал. Полностью раскаиваюсь и разоружаюсь перед партией и ее руководством... — он сел, но тотчас встал и сказал: — Мы слишком часто гордимся своими достижениями, своим трудовым стажем тракториста или машиниста... А тут люди прожили большую часть своей трудовой жизни, своего трудового стажа в политбюро. Люди, можно сказать, состарились в политбюро... Проявляя заботу о нас, руководители партии торжественно заявляют: «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме...» А мы, советские люди, должны торжественно заявить в ответ: «Нынешнее поколение советских руководителей уже живет при коммунизме...» — он хотел еще говорить, каяться и наговорил бы многое, но заметил строгий взгляд-окрик инструктора райкома и сел.

Дали слово Якову. Словно в бреду говорил Яков.



— На западе все за деньги, там они прощаясь друг другу «Будь бай» говорят... Там все за деньги, а тут все за спасибо... Это значит мэрдэка... Так в Индии спасибо говорят... Я в газете читал... Вот я и говорю мэрдэка за все, а особенно старому другу Ефиму Гармате мэрдэка.

— Тут нету ни друга, ни отца родного, — крикнула Гармата, — тут члены партии.

— Хорошо, — говорит Яков, — раз члены партии, ладно. Вы меня Марксом упрекнули, а я вас Лениным упрекну. Халатно вы разобрались в указаниях товарища Ленина из его брошюры «В чем дело?».

— «Что делать?» — подсказывает инструктор райкома. — «Что делать?»

— Что делать, — отвечает Яков, — решайте сами... Чуткости в вас ленинской нет, матери вашей дышло...

Встал Яков, вышел и дверью не хлопнул только потому, что левой рукой за сердце держался, а правой за затылок.

Были предложения исключить, но, учитывая прошлое, объявили строгий выговор. Правда, выговор этот должен был еще райком утвердить. Это по партийной линии, а по служебной уволили на пенсию не как стахановца и старого комсомольца, не пенсионера республиканского значения, а пенсионера обычного разряда, как рабочего карьера, затем сторожа.

Отворяй ворота, Яков, отворяй пошире, беда стучится у порога, ноги вытирает...

На следующий день после партбюро прибыла из Москвы телеграмма. Чужими пальцами открыл ее Яков, открыл неловко, разорвал пополам. Сложил обрывки, прочитал подпись — «Анюта». Потом глянул на короткий текст... Повяло от телеграммы московским праздником. Вихрями враждебными над нами и над вами.

## 7

На освещенных огнями праздничных иллюминаций вечерних улицах опять двоевластие, опять революционная ситуация. У Емельки Каши в руках гармонь, у Васьки Пугачева, дружка его, бутылка — грозное оружие пролетариата. Емелька и Васька в одной первичной ячейке состоят при вино-водочном отделе продмага № 18 Куйбышевского района города Москвы. Зеленая гвардия. Вся Москва вдоль и поперек опутана сетью некоей общественной организации, не имеющей пока руководящего центра, созданной по инициативе низов. Из сравнительно недавнего прошлого известен случай эффективного создания организации вокруг газеты. Паук, талантливое, несправедливо презираемое насекомое, создал революционную паутину. Здесь обратный принцип, паутина создает паука.

Личный состав ячеек вокруг вино-водочных отделов почти постоянен. Отношения ясные. Летописец мог бы написать о них эпопею из двух фраз: «Познакомился Сидор с Петром. Начали драться...» Бьют своих, а чужие боятся. Время к полуночи. Тонконогий интеллигент бежит из ресторана театрального общества. У памятника Пушкину революционный патруль зеленогвардейцев — Емелька Каша да Васька Пугачев. Вспоминает Емелька Зину. «Ведь могли бы жить, могли бы любить... Пропала Зинка, и я пропал...» Так личные беды рождают всемирную злобу.

Ра-та-та-та-та-та-та  
 Ра-та-та-та-та-та-та  
 Ра-та-та-та-та-та  
 Ра-та-та-а-а...

— Тонконогий побежал, — говорит Васька, — на вилы бы его... Буржуазия опять закуску у народа отнимает...

Икнул со страха тонконогий. «И кто его знает, чего он икает», — это Омея так.

Но патрули политбюро в полном составе заняли опасные перекрестки на фасадах зданий. Поднял глаза Емельян, увидел боевую цепь портретов с Центровым во главе и вспомнил, как его самого было демобилизованное крестьянство в участке. Только зубами скрипнул: «Гад отец, сука Анята, курвеночка Игоряха... Эйсех вус... Зовер...» Не отвел душу на тонконогом, в копилку злобу отложил. «Эх, революцию бы...» Так контрреволюционное правительство в который раз спасло от революционных погромщиков неблагодарного интеллигента. Впрочем, тонконогий это понял. Прибежал тонконогий в праздничную компанию... Анчоусы... Крабы с яйцом... Сельдь в сметане... Студень телячий... Гренки со шпротами... Шампанское «Крымское»... Коньяк дагестанский «Приз» с лошадиной головой на этикетке... Праздник...

Засмеялся тонконогий и процитировал Горадия:

Граждане, граждане!  
Деньги вы прежде всего доставать трудитесь.  
Добродетели потом...

Ешьте анчоусы, гренки со шпротами жуйте! А далеко ли до последнего дня, этого никто не знает.

А на улице блоковский революционный ветер.

Во втором часу ночи вышла молодежь во двор от дешевого бутербродного стола. Игоряха, Тамарка, Игоряхина пятнадцатилетняя любовница, Нинка, подруга Тамарки, которая сохла по Валерке Товстых, и пара молодых женатиков Ирка-Юрка. А Валерки с ними не было, завел себе девочку на стороне.

— Ничего, — смеется Игоряха, — проучим его, чтобы обществом не пренебрегал.

У Игоряхи с Валеркой дружба была веселая, вечно они друг другу подвохи строили, шутки разные. А готовились вместе в университет поступать, на исторический.

— Поступим, — говорил Валерка, — национальные кадры нужны. Недаром Ломоносов писал: «Что может собственных Платонов и быстрых разумом Аронов российская земля рождать...»

Остроумный Валерка, но и Игоряха ему уступить не хочет.

— Не горюй, Нинка, мы его отучим к чужим ходить и своими пренебрегать. Мы его в проходном дворе перехватим, где ящики лежат, магазинная тара.

Походили по двору, поежились, пообнимались, слышат шаги.

— Тихо, — шепчет Игоряха, — Валерка идет.

Подкрался Игоряха, едва сдерживая смех, кинулся сзади на плечи Валерке, кепку его ему же на глаза глубоко рывком надвинул, прижал к пустым ящикам и начал часы с руки снимать. Валерка охнул, пискнула как-то, а вся компания за углом рта зажимает, чтоб не расхохотаться... Вдруг Валерка вывернулся, то ли почувствовал слабинку нападавшего, то ли часы стало очень жалко, вывернулся и сильно ударил кулаком Игоряху в солнечное сплетение. Упал Игоряха, как подрубленный. Выбежала вся компания из-за угла.

— Ты что делаешь, Валерка! — кричит Нинка. — Он же пошутит.

— Ничего, — говорит Валерка, оглядываясь, — в следующий раз будет знать, с кем и какие шутки проходят. Гангстер какой нашелся. Кто же так грабит...

Наклонилась Тамарка над Игоряхой, а он уже ее не видит. Видит он только ночной купол небесный, звездами усыпанный. Опустились края этого купола как шатер на землю, и меж звезд люди,

такие же маленькие, как звезды, усеяли над Игоряхой края ночного небесного шатра.

— Ой, ребята, — кричит Тамарка, — плохо Игоряхе. Пена изо рта с кровью.

Любила Тамарка Игоряху, стихи ему писала:

Так тоскливо спать ложиться,  
Укрываться простыней,  
Лучше вместе нам напиться,  
Сбросить стыд своей нагой...

— Ой, плохо Игоряхе, — кричит Тамарка.

— Ребята, — запинаясь говорит Валерка, — вы ж видели... Не знал я... Он сам сзади... Я ж думал, грабят...

— Чего оправдываться, — кричат ребята, — «скорую помощь» надо.

Кто уж что кричит, непонятно... Побежали на угол — телефон-автомат не в порядке... Побежали на соседнюю улицу — у телефона-автомата вовсе трубка вырвана. Побежали звонить в одну квартиру, не пустили, во вторую — совсем не ответили... Людей можно понять. Ломятся ночью, кричат, а праздники — опасное время... Побежали такси ловить... Это в Москве-то, в праздники, в третьем часу ночи на окраинной улице такси поймаешь... Бегали, бегали...

— Ой, совсем плохо Игоряхе, — плачет Тамарка, — белый весь, и глаза закатились...

— Сажай его мне на спину, — кричит Валерка, — сзади поддерживай...

И помчались по пустым улицам. Как конь скачет Валерка, дышит с надрывом, обхватил болтающиеся ноги Игоряхи, а сзади Игоряху Юрка за спину поддерживает. Руки Игоряхи Валерку словно вожжи хлещут, голова у Игоряхи мотается. Девочки тоже бегут, но поотстали. Проскакали так несколько улиц.

— Стой! — милиция, демобилизованное крестьянство, — давно пятнадцать суток не получали?

— Товарищу плохо...

— С перепоя, что ли?

— Нет, несчастный случай... «скорую» надо...

Подбежали девочки.

— Плохо ему, — плачет Тамарка, — помогите...

— Ну как, дружок, — потряс Игоряху за плечо милиционер.

— Так он же мертвый, — говорит второй милиционер.

— Я — я-я-я, — заикается Валерка.

— Снимай его со спины, — говорит второй милиционер, — теперь уж ему спешить некуда.

— Они видели, — заикается Валерка, — он сам... Он сзади напал и грабить...

— Поехали в участок, там разберемся.

Следствие было, но до суда не дошло. Свидетели все показали одно и то же. Даже статью 106 Уголовного кодекса применить не удалось: «Убийство, совершенное по неосторожности». Вынесли решение: «Поскольку Каша И. Е., инсценируя нападение, пытался сделать это правдоподобно, поскольку Товстых В. И. мог обоснованно считать, что на него действительно напали, он имел основание для защиты».

Анюта наняла адвоката, Емельян ходил с ломиком, грозился Валерке голову проломить. Но кончилось тем, что Валерка уехал в Ригу и поступил в мореходное училище.

Бабка Полина под трактором погибла, и внук ее, Игоряха, тяжело умер. Страшная смерть — убийство кулаком. И в обоих случаях виновных не нашлось. Где ж их найдешь, виновных в судьбе рода Якова Каша.

Получив телеграмму о смерти внука, лежал Яков на кровати. Никуда не ходил, зарос, потный весь стал, оттого что не умывался, исхудал, оттого что не ел десять дней, а может, и более. По логике ему надо бы тоже умереть. Да какая уж логика в несчастье...

Где-то на двенадцатые-тринадцатые сутки умылся Яков, побрился, пожевал кусок хлеба, ставший сухарем... Жить не хотелось, однако как-то жилось само собой.

Раз слышит он стук в дверь. Отпер Яков. Входит Таращук и с ним еще какой-то незнакомый. Поздоровались.

— Вот, товарищ Каша, — говорит Таращук, — пришла гора к Магомету.

А второй, незнакомый, Таращука урезонивает.

— Ладно, Пантелей Кузьмич. У товарища несчастье. Мы знаем, сочувствуем. Но личные дела партийных не отменяют, а скорее наоборот. Третий раз ваше персональное дело на бюро райкома переносим.

— А вы кто будете? — спрашивает Яков.

— Я представитель райкома Носенко Остап Петрович.

— Садитесь к столу, Остап Петрович, — говорит Яков, — и вы, Пантелей Кузьмич... Чайку попейте, конфеток попробуйте, печенья.

А Яков до этого в сельмаге был и кое-что купил. Садятся партийные товарищи к столу, чай пьют, конфетами и печеньем заедают. И Яков с ними. Выпили по стакану.

— Может, еще хотите?

Выпили по второму.

— Все? — спрашивает Яков.

— Что — все? — на вопрос вопросом отвечает представитель райкома.

— Напились?

— Да, спасибо...

— А теперь вон отсюда!

— Это как же? — растерянно спрашивает Носенко.

— Что ж тут непонятного, — говорит Яков, — если гонят из чужого дома, надо вставать и уходить.

— Ты, Каша, брось, — горячится Таращук, — ты антипартийную линию занял.

А представитель райкома урезонивает.

— Товарищ в нервном состоянии... Хорошо, мы уйдем. Но мы еще с вами встретимся.

— Мы с вами можем встретиться только в винно-водочном отделе трындинского гастронома, — говорит Яков, — эх вы, жида партийные...

Вот на это обиделись.

— За такие слова партийный билет положите.

— Не ты мне его давал, — кричит Яков, — я из первых стахановцев. Я при Сталине в партию вступил...

Действительно, сильно изменился Яков. Пить начал и по анти-семитской части преуспевать, подобно многим несчастным людям.

— Жида мне в Биробиджане сына моего испортили, Омелю...

И плакал. Как про Омелю заговорит, вспоминает, какие у него младенчиком ручки-пирожки были. И Полину вспоминать стал чаще. Пойдет на мост в Трындино, где когда-то водяная мельница была, стоит, смотрит на воду и молчит. Три часа может так простоять. Курит и молчит.

Но были и радости. Гармата, окончательно уволенный с партийной работы на пенсию, взял пол-литра «Московской», баночку консервов «Килька в томате», полкило селедки и пришел мириться.

— Я партийной дисциплине подчинялся. Ты, Яков, сам должен понимать.

Поехали они на рыбалку, как в былые времена. Не столько рыбку ловили, сколько вспоминали стахановское движение, успехи первых сталинских пятилеток, доклад ЦКК ВКП(б), отчет ИК РКИ. Товарища Сталина, товарища Молотова, товарища Кагановича, товарища Ворошилова...

Попели песен: «Ай, жаль, жаль...», «Скакал казак через долину...», «Ведь от тайги до Балтийских морей, Красная армия всех первой...», «Из-за леса солнце всходит...»

Из-за леса солнце всходит,  
Ворошилов едет к нам,  
Он заехал с права фланга,  
Поздоровался, сказал:  
Эй, бойцы, война настала,  
Собирайтесь-ка в поход.  
Ну-ка шашки и кинжалы  
Выставляйте наперед!

Стемнело. Разожгли костер и сидели рядом, плечом к плечу, два ветерана, протянув к огню свои пролетарские, мозолистые ноги.

Казалось, вторично вылечит Якова старый товарищ наложением партийной руки. Однако не тут-то было. Поехал Ефим Гармата к сыну, майору, пограничнику Тарасу Ефимовичу Гармате (а какая же государственная граница без майора Гарматы), поехал Ефим Гармата к сыну майору, прочитал о нем статью в многотиражке, статью под названием «Граница станет еще краше», прочитал и слег с инфарктом от положительных эмоций.

И просветление стало для совсем одинокого Якова лишь временным эпизодом. Опять ходил он на мост, курил и думал. О чем же он думал? Размышления человека, одиноко стоящего на мосту, где началась его судьба, всегда библейско-христианские, хотя бы человек этот был по натуре самым грубым язычником-идолопоклонником. Но не понимает такой человек своих собственных размышлений, слышит он только звук их, но не смысл. Так собака слышит ласковый голос своего Хозяина, но не понимает смысла сказанных ей слов, даже несколько заученных фраз она воспринимает в музыкальном звуко-четании.

## 8

Однажды, перед тем как пойти на мост, зашел Яков в кафе «Троянда», ибо накануне получил скромную свою опальную пенсию, не республиканского значения, Троянда в переводе с украинского значит роза, но не благородным цветком пахло внутри, а химическим разложением органических веществ. Стоял в кафе больничный запах холодного бульона-мочевины. Однако если войдя с улицы чихнуть несколько раз, а потом придышаться, то можно неплохо посидеть, тем более посетителей в это время было мало. Только в углу, у кадушки с фикусом сидел незнакомец, видно, не местный, командировочный, и пил шампанское. Шампанское в кафе «Троянда» брали редко, тем более с утра, и потому незнакомца обслуживали с усердием, на Якова же внимания не обращали. Знали, что попросит он двести водки и салат из помидоров. Салат, в котором лука больше, чем некачественных, малокровных помидоров и который едва взбрызнут каким-то раствором, то ли уксусом, то ли керосином.

Яков хотел было начать шуметь, кричать, что он из первых стахановцев, и обозвать мордатых украинцев, национальные кадры общепита, жидовой торговый. Но вдруг так ему захотелось тоже выпить шампанского и закусить жареным петушком. Пересчитал деньги — куда там, пол месячной пенсии уйдет. Пригляделся к незнакомцу. Человек, как будто неплохой, на селькора Пискунова похож, который в

тридцатом году выступал на диспуте в областном Доме крестьянина. Решился Яков, подошел к столу и говорит:

— Товарищ, угостите шампанским.

— Садитесь,— отвечает,— милости просим,— и наливает шампанского полный бокал.

Выпил Яков залпом и ободрило его приятным холодом. Голова закружилась не тяжело, как от водки-самогона, а плавно, легко, словно в танце. Тут же жареной курятиной закусил. Подобрел Яков и понял, отчего среди бедных больше злого народу, чем среди богатых, и отчего среди богатых есть такие, которые народ любят, а в народе любви к богатому человеку поменьше. Жареная курятина сильно помогает доброму и веселому расположению духа.

— Извините,— говорит Яков,— моя фамилия Каша.. Есть каша с смальцем, а я Каша с пальцем. Вы случайно селькору Пискунову не родственник? Жаль... В тридцатом году я на диспуте присутствовал по книжке «Как беднота обойдется без богатых». Вы, видно, тоже из пишущих? Я сразу заметил... Я ведь в молодости несколько стишков написал, когда в ликбезе читать-писать учился: «Советская власть, мне сильно пофартило, что я с тобой в единый строй попал...» Полностью не помню, столько лет, а вот всплыло кое-что... А рядом сосед со мной жил, через забор... Бедняк, но подкулачник... Ванька-москаль... Советскую власть не любил... Так, когда писать выучился в ликбезе, стих про раскулачивание написал: «Как на лугу, на лужку коммунист смеется и советскому дружку в краже признается...» Я эту бумажку у него вытасил, в сельсовет передал... Учили, когда принимали решение по высылению враждебного элемента...

Выпил Яков второй бокал, начал про жизнь свою рассказывать. Про Полину и про Емельяна, и про Анюту, и про Игоряху. Ничего не утаил. А незнакомец не перебивает, слушает и записывает. Так просидели до обеда. Яков только два раза во двор выходил в дощатый туалет мочиться. И незнакомец раз вышел. А когда третий раз Яков вышел, по большой нужде, показался этот туалет похожим на прожитую жизнь. Мухи там тяжелые гудят, черви копошатся в отходах, но какой-то свой уют есть. Горячее солнце сквозь щели в досках светит, поскрипывает что-то, потрескивает, спокойные голоса снаружи раздаются, шелест деревьев слышен, птичье щебетанье. Да и те же мухи, если прислушаться, гудят приятную мелодию, черви белые копошатся деловито. А туалет городской, как камера-одиночка. Конечно, зимой здесь не посидишь. Сквозь щели дует, на полу желтые от мочи наледи. И тоска: ни мух, ни червей, ни птичьего щебетанья. Только собачий лай иногда и воронье карканье. Было и такое в жизни. Много такого было. Была и зима, но было и лето.

Вернулся Яков, а незнакомец говорит:

— Я обед заказал. Так что сходите к рукомойнику, руки помойте.

Помыл Яков руки, поел борща наваристого, порционный лангет и коньяк выпил дорогой. Сидит, в зубах спичкой ковыряется и дальше про жизнь свою говорит.

— И с фрицензонами повоевал, ранения имел и послевоенное восстановление прошел по-стахановски. Непосредственно Каганович мне руку жал. Но когда жена моя под трактор попала, я уже работать не мог... Нервы... Тут и с сыном Емельяном неприятности... Тогда направила меня партия по инвалидности на идеологический участок работы...

И рассказал про портреты членов политбюро и про то, как из-за личных неурядиц допустил ошибку и повесил два портрета одного и того же члена: «Один портрет из старого комплекта, третьим слева от Генерального-Центрового, второй из нового комплекта — пятый справа. Три дня висели, и никто не заметил. Я-то не заметил потому, что у меня весь мир тогда был, как черный гранит. Пацан какой-то заметил, школьник... А то бы прошло...»

— Народная сказка для детей,— сказал незнакомец и засмеялся.— «Сколько ножек у политбюро?»

Незнакомец посмеялся минут десять, а официант, думая, что незнакомец сильно напился, поспешил со счетом. Дрожащими от смеха пальцами вытащил незнакомец небрежно крупную сумму, превышающую месячную пенсию Якова, расплатился и говорит:

— Мы еще посидим... Ох... Ох... Мы еще, может, ужинать будем...

До вечера рассказывал свою жизнь Яков с комментариями и подробностями, а вечером, когда кафе «Троянда» начало наполняться местными завсегдатаями, роняющими мятые соленые огурцы на грязные скатёрки и кричащими друг другу раскатистое: «Брешешы!» — вечером, когда кафе «Троянда» зажило по-домашнему, незнакомец начал собирать густо исписанные листки. И Якову вдруг стало грустно, как на вокзале, когда он провожал Игоряху, любимого человека или смотрел вслед уходящей в дверной проем Анюте. И понял Яков, что себя он любил тоже, и себя жалел, и проводил он себя, Якова Кашу. А куда? Проводил себя в сына своего, а сын еще далее проводил во внука... Яков родил Емельяна, Емельян родил Игоря...

— Простите,— говорит Якову незнакомец,— вы мне сегодня целый день уделили, охрипли, я бы хотел вас отблагодарить,— и протягивает толстую пачку денег.

— Нет,— отвечает Яков,— этого не надо, я пенсию получаю. Жизнь же моя не денег стоит, а сочувствия.

— Но все-таки, — говорит незнакомец,— чем я могу вас отблагодарить? Я в Москву уезжаю, есть у меня там знакомства. Может, надо вам что-нибудь?

— Ничего мне теперь не надо,— отвечает Яков,— поскольку внука моего любимого Игоряхи нет в живых, как вы уже слышали. Одно лишь прошу, если есть возможность засудить на длительный срок убийцу Игоряхи, который с помощью евреев-адвокатов сухим вышел из воды, помогите... А может быть, есть возможность его к смертной казни присудить.

— Приговор суд выносит,— отвечает незнакомец,— но попробую выяснить обстоятельства дела. Как фамилия обвиняемого?

— Валерка Товстых... Бандит сибирский... Мне он сразу не понравился... Почему я его не выследил здесь в лесопосадке и не удавил? Закопал бы тело, никто бы не нашел. А нашли бы, я б лучше пострадал, чем Игоряха. Он у меня умным был, хлопчик мой. Научными фантазиями увлекался. Может, вышел бы в космонавты.

— Адрес этого Товстых какой?— после паузы спрашивает незнакомец.

— Гад этот вроде бы из Москвы уехал,— отвечает Яков,— но мать Игоряхи Анюта знает куда,— написал адрес Анюты.

Посидели еще немного.

— Может, на дорогу опять шампанского выпьем,— предложил Яков,— а то что-то мы поскущели.

Заказал незнакомец бутылку шампанского, распили ее. А еще три бутылки дал Якову с собой в корзинке, которую тоже купил. На этом и расстались.

И в таком состоянии, сытый, пьяный, полувеселый, полугрустный, с тремя бутылками шампанского в корзинке пошел Яков на мост.

Вечерело уже, огни и в Трындино зажигались и в селе Мясном, за рекой. Смотрит Яков, старуха идет драная богомольная. «Не может быть,— думает Яков,— та уже не только померла, сгнила давно». Имел он в виду нищую старуху, которую встретил в 32-м году здесь на мосту за несколько минут до того, как встретил Полину и началась судьба его. «Не может быть, я молодой тогда был, как Игоряха почти, а она в тех же летах, что и теперь». Но играет, мистифицирует шампанское, непривычное для реалистического пролетарско-крестьянского опьянения, и луна—проститутка полуобнаженная, прикрытая лишь лев-

кой прозрачной тучкой, игрой своей зачаровывает. Подошел Яков к старухе и спросил.

— Ты это?

— Я это.

— Живешь еще?

— Живу...

— А идешь куда?

— В Мясное иду... В церковь помолиться...

— Открыта, значит, церковь?

— Открыта... И ты пойдешь...

— Мне зачем, старуха... Я же партейный.

Остановилась старуха, посмотрела на него.

— Нет,— говорит,— чернобровый, как родился беспартийным, так беспартийным и умрешь.

Слышал уже где-то подобные слова Яков, но где, не помнит. И обозлился Яков. Подбежал к старухе.

— Какой же я чернобровый? Ты что, смеешься надо мной, ведьма... Это ты, ведьма, сглазила меня, мне жизнь испортила.

Посмотрела на него старуха и говорит:

— Как же я могу тебе жизнь испортить, если ты в шутку родился?

— Как это так в шутку? Разъясни.

— Да ты не обижайся,— отвечает старуха,— много вас таких, в шутку родившихся... Миллионы... А расплодился вы, стало еще больше... Вот так, чернобровый...

И улыбнулась сморщенная сторбленная старуха, растянула свою провисшую желтую кожу. Улыбнулась, а рот ее полон молодых белых зубов, как у Полины и Анюты в лучшие их годы... Чистые зубы... Отборные... Фарфор... Семечко к семечку...

Страшно стало Якову, побежал он без оглядки и слышит, как старуха ему вслед смеется молодым смехом в лунной ночи. Бежит, но корзинку с шампанским из руки не выпускает... Долго бежал Яков, устал, остановился, огляделся... Кажется, село Мясное... И в церкви служба идет, из освещенных дверей слышится пение хора... «Вот оно что,— думает Яков. И вспомнил он, как в доме культуры во время антирелигиозной лекции бесплатно демонстрировалось кино, разоблачающее разные церковные чудеса,— это ко мне церковники старуху подослали,— думает Яков,— и зубы ей вставили, чтобы меня смутить... Это так же, как они воду в вино обращают. Лектор все эти штуки разъяснил».

И вошел Яков в церковь впервые за свою жизнь. Видит, много свечей горит, жарко от них. И портреты в позолоте... Вон Центральной главный у них — видать, Христос. А бородатый кто? На Карла Маркса похож. Портреты все стационарно прикреплены, без перемен в расположении. Тут уж не перепутаешь, два одинаковых апостола не повесишь... Небесное это политбюро состояло из апостолов, это Яков знал благодаря антирелигиозной лекции. И в книжечке про сионистов, которую Яков недавно в газетном ларьке купил, вроде бы такие же бородатые были нарисованы... «Как это только позволяют. За что же мы, первые комсомольцы, первые стахановцы тридцатых годов, боролись, сбивали кресты с церковей, попов разгоняли, частушки антирелигиозные пели... Что же это теперь все прахом пойдет? Вот отчего покойный Игоряха с крестом на груди приехал. Бороться мы перестали. Мы, старые партийцы».

При воспоминании об Игоряхе слезы побежали, в горле запершило, пить захотелось. Молящиеся вокруг, в основном пожилые женщины и старухи, мешали думать об Игоряхе, да и тот в рясе, бледный старик, говорил и говорил тонким голосом, как комар над ухом.

— Задать вопрос хочу,— громко неожиданно произнес Яков, он сам понял, что говорит, только когда услышал свой голос,— вот ваш



Христос за что агитирует? Поцелуй врага своего... А как же я поцелую сибиряка, который убил внука моего Игоряху и с помощью адвоката, еврея-сиониста, наказания избежал? И как поцелую тракториста Чепурного, который трактором задавил мою жену Полину? Или нового секретаря райкома Клеца, который у меня, старого партийца, хочет партбилет отнять?

— Гражданин,— сказал ему какой-то трудно различимый,— тут не партсобрание, здесь люди молятся.

— Молятся? А кому вы молитесь? Вы бородатым сионистам молитесь.

— Нехорошо, гражданин, в пьяном виде в Божий храм приходить. Стыдно, пожилой уже,— и взяв Якова крепко, вывел из церкви на улицу.

«Ладно,— подумал Яков,— пока ваша взяла, но мы, старые партийцы, еще посбиваем с вас кресты... Кого в Биробиджан выпшем, а кого к стенке... Раскулачим».

Когда Яков вышел из Мясного, оставив огни позади, стало опять страшно, а когда подошел к мосту, другой дороги к станции не было, опять почудился в темноте женский смех, похожий на смех Полины и Анюты... От быстрой ли ходьбы, от страха ли, от обиды ли, что из церкви выгнали, в горле, во рту сильно пересохло. Жажда была такая, что если бы не страх, он открыл бы шампанское тут же, по дороге. Но Яков боялся остановиться и шел, шел из последних сил, чтоб быстрее преодолеть тьму и выйти к освещенной станции. Обычно Яков в целях экономии шел из Трындино к себе в Геройское пешком. Хорошим солдатским шагом минут сорок, в крайнем случае час. Однако теперь он устал, было поздно, темно, начал накрапывать дождь, и по-прежнему, хоть Яков и храбрился, было страшно. Никак не забывались белые, молодые, отборные зубы во рту у древней старухи... Живые зубы, на вставные не похожи... Лет семьдесят старухе, а зубы как у Полины и Анюты в двадцать лет. И полезла в голову чертовщина, что женат он был на ведьме... Слушал антирелигиозные лекции, слушал политруков в армии, изучал партминимум, а нечистая сила свое взяла... Обидно...

Однако освещенная платформа успокоила и развеяла чертовщину. В ожидании поезда стояло множество пассажиров, а по стационарному радио заканчивали передавать из Москвы последние известия, сообщали прогноз погоды... Даже в самое трудное время, для самого унылого человека нет ничего более оптимистичного, вселяющего уверенность, чем прогноз погоды на завтра. Спокойное, деловитое сообщение о том, что увидит человек завтра проснувшись... Хороша ли, дурна ли погода, не в этом суть... Суть в том, что завтра для него и для миллионов таких же, как он, на Воркуте ли, в Москве ли, в Ташкенте ли наступит новый день, и об этом дне уже сегодня известно, что он будет дождливый или солнечный, холодный со снегом или теплый с дождем...

Прослушав прогноз погоды на завтра и узнав, что в их местности будет переменная облачность с южным ветром и теплотой до 20 градусов, Яков купил в кассе билет до Геройского за пятнадцать копеек, посмотрел на освещенные часы и выяснил, что поезд-электричка, следующий мимо Трындино из столицы республики, подойдет через десять минут. Уйдя в тень от посторонних глаз, Яков начал шарить в корзинке, пытаясь открыть бутылку, шелестя серебряной фольгой и натываясь то на одну бутылку, то на другую, оцарапал себе пальцы о проволоку. Жажда мучила его все сильнее, поезд должен был вот-вот подойти, а он никак не мог справиться с пробкой. Выругавшись, Яков вытащил из кармана платок и обернул им горлышко бутылки, чтоб легче тащить... В этот момент из темных кустов, окружавших платформу, раздались крики: «Сдавайтесь, вы окружены!» И послышались выстрелы. Одна пуля попала Якову в голову, одна в корзину,

откуда выстрелило, дополняя канонаду, шампанское, все три бутылки. Одна из пробок попала Якову в глаз, нанеся увечье. Но увечье страшно живому, а не мертвому. Яков, заливаемый пеной шампанского и кровью, упал на платформу, подвернув под себя руку, и в такой неудобной позе в луже крови, разбавленной шампанским, он лежал до прибытия следственных органов. Ибо после того, как смолкли крики пассажиров и выстрелы, улеглась несколько паника, было установлено, что гражданин мертв. Кроме Якова, пострадала еще четырнадцатилетняя девочка, которую в панике сбили с ног и потоптали. Но больше жертв не было.

Делом, которое смахивало на террористический акт, занялась область. Опытный следователь быстро раскатал клубок. В кустах, окружавших платформу, был обнаружен отпечаток ткани плаща. Преступник лежал с ружьем, опираясь локтями на землю, и оставил на грунте отпечаток. Была найдена бумага от пыжей. Наконец, был найден след уха в пыли. Установили, что ухо принадлежит Егору Чудинову, слесарю из Мясного. А Егор выдал двух остальных охотников-собутельников. «Выпили, поразвлечься хотели. Стреляли поверх голов». Может, оно и так, да Якова Кашу убили наповал. От того, наверно, что он виден не был, сидел, а не стоял, и в неосвященном месте.

Суд вынес решение по статье 108 Уголовного кодекса РСФСР: «Начав стрельбу из охотничьих ружей в многолюдном месте, Чудинов Е. М., Касимов Г. К. и Вовченко Д. И. предвидели, что могут убить или ранить кого-либо, хоть и не имели непосредственно такого намерения».

Да, несчастливый человек Яков Каша. А несчастливый человек сеет вокруг себя несчастье.

«Егорка ведь армию отслужил, жениться собирался, а у Гришки двойня недавно родилась, а у Митьки сестра больная и мать старая».

Умер Яков Каша нелепо и смешно, но зато нашлись наконец ответчики за его судьбу — Егорка, Гришка да Митька... Чудинов, Касимов и Вовченко...

Следователь из области в кругу своих в неслужебное время шутиливо рассказывал, что второй раз подряд ему «Кашу приходится расхлебывать, которую кто-то наварил». И действительно, расследуя недавно убийство, он никак не мог пулю обнаружить, которая насквозь прошла через грудь потерпевшего. Двенадцать часов искали, обыскали всю квартиру убитого и наконец нашли пулю в кастрюле с гречневой кашей, которая стояла на плите. «Два дела, — шутил следователь, — и в обоих пуля в кашу попала».

Похоронили Якова второпях. Приехал Емельян, приехала Анюта. Между собой они давно во вражде были, жили врозь и здесь сцепились из-за наследства. Емельяну невтерпех было скорее хату продать и пропить. «Ты свое наследство уже получила, отец тебе каждый месяц деньги высылал», — кричал Емельян Анюте. Анюта же требовала хоть камень на могилу заказать. «Карьер рядом, а отец там все-таки долго стахановцем был, учтет местком, за полцены камень выделит». Но Емельян на своем настоял. Продал хату торопливо, недорого и уехал пропивать.

В райкоме личное дело Якова закрыли, сняли с партучета за выездом в нематериалистический мир. И тут удачно разрешилось. Колебались, не знали, что делать. какую меру партийного наказания применить. Все-таки партиец со стажем, стахановец...

И вот лежит похороненный Яков Каша, старый стахановец, старый большевик-комсомолец сталинист, активист, атеист-язычник, антисемит, несчастливый брат наш.

Материалисты всегда умело и хорошо опровергали космический пессимизм философов, подобных Шопенгауэру и Гартману, опровергали их попытки искать источник вечного зла в глубинах вселенной. Действительно, ныне ясно, что торжество материализма было обусло-

влено слабостями их противников. Немецкие пессимисты, эти учителя современного антиматериализма, искали вечное зло в том, что у человека нет сил изменить движение созвездий, зажечь в небе еще одно солнце или разорвать цепь, которой каждый прочно связан со своей смертью. Подвластное вечному злу человеческое существование лишено всякого смысла, кроме одного — возможности убить более слабого.

Пессимизм этих современных антиматериалистов есть результат отчаяния их постичь таинственную Личность из Назарета и таинственную Заповедь этой Личности о любви к врагу, постичь не через молитву, людскую выдумку, а через разум, дар Божий.

Да, в наше время эта Личность и эта Заповедь стали еще менее постижимы. В наше время, когда на историческую арену вышли социальные низы, главные потребители всякой идеологии. Всякая же идеология основана на лживом образе врага, ибо без этого невозможна ненависть, живая кровь идеологии. Без ненависти всякая идеология мертва.

Ныне, когда проповедь заменена пропагандой, когда эмблемы, символы, знамена, портреты вождей подчинили себе слово, лживый образ врага стал необходим, как никогда. Назаретская же тайна скрыта.

Но есть все-таки путь к ней, и он лежит не через философию, ибо философия учит не замечать врага или пренебрегать врагом, не через религию, ибо религия учит крайнему и недоступному — любить врага, а через культуру, всегда открытую, всегда незавершенную, постигающую не крайние выводы, а процесс, то есть жизнь. Пойми врага своего — вот основная заповедь подлинной культуры, не замученной идеологическими веригами разных направлений. Понять врага своего значит стать сильнее его. Но сила не может быть целью, сила может быть лишь средством. К чему?

Попытка понять врага своего содержит, пусть незначительные, крупинки любви к нему. Так мы приближаемся к Назаретской тайне, хоть и с противоположной стороны, не со стороны покорности и слабости, а со стороны силы и разума.

Всякая идеология — расовая, классовая, сословная, клерикальная — основана на логике самопознания, самокопания, самовозвеличивания и полностью лишена интуиции, этого способа постичь чужое, понять, что источником мирового зла, источником вражды является несчастливый человек...

Вот он лежит, Яков Каша, сталинист, антисемит, несчастливый враг наш, закопанный на краю кладбища села Геройское, бывшая деревня Перегной. Нет на его могиле камня, и никому он теперь не нужен, кроме старого язычника, ослепшего больного грека Гомера, написавшего на смерть Якова Каша эпитафию:

Между живущих людей безымянным  
Никто не бывает  
Вовсе: в минуту рождения каждый  
И низкий и знатный  
Имя свое от родителей в  
Сладостный дар получает.

Пусть же эта повесть о несчастливом человеке заменит собой камень на могиле, не дав ей потеряться среди других могил, ухоженных и любимых, и пусть имя — Яков Каша — этот сладостный дар Родителя нашего красуется на ней.